



ПОПУТАЙ ФЛОБЕРА



Большой роман

Джулиан Барнс

Попугай Флобера

«Азбука-Аттикус»

1984

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

Барнс Д. П.

Попугай Флобера / Д. П. Барнс — «Азбука-Аттикус»,
1984 — (Большой роман)

ISBN 978-5-389-13856-8

Лауреат Букеровской премии Джулиан Барнс — один из самых ярких и оригинальных прозаиков современной Британии, автор таких международных бестселлеров, как «Шум времени», «Предчувствие конца», «Артур и Джордж», «История мира в 10? главах» и многих других. Возможно, основной его талант — умение легко и естественно играть стилями и направлениями. Тонкая стилизация и едкая ирония, утонченный лиризм и доходящий чуть ли не до цинизма сарказм, агрессивная жесткость и веселое озорство — Барнсу подвластно все это и многое другое. «Попугай Флобера» — первая из книг Барнса, вошедших в шорт-лист Букеровской премии, — это «восхитительный роман, насыщающий ум и душу» (Джозеф Хеллер); это «подлинная жемчужина — роман настолько литературный и в то же время беззастенчиво увлекательный» (Джон Ирвинг). Сквозь призму биографии Флобера Барнс пытается ответить на вопрос, что важнее для нас, читателей, — книги автора или его жизнь? Если книги, тогда почему творчество писателя заставляет нас буквально охотиться за мельчайшими фактами его жизни? Почему мы верим, что чучело флоберовского попугая способно дать ключ к пониманию всего, что написано французским классиком?

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-13856-8

© Барнс Д. П., 1984
© Азбука-Аттикус, 1984

Содержание

1. Попугай Флобера	9
2. Хронология	16
I	16
II	19
III	23
3. Кто нашел, тот и хозяин	27
4. Бестиарий Флобера	34
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Джулиан Барнс

Попугай Флобера

Посвящается Пат

Julian Barnes
FLAUBERT'S PARROT
Copyright © 1984 by Julian Barnes
Перевод с английского

Тонкий юмор, отменная наблюдательность, энергичный слог – вот чем Барнс давно пленил нас и продолжает пленять.

The Independent

В своем поколении писателей Барнс, безусловно, самый изящный стилист и самый непредсказуемый мастер всех мыслимых литературных форм.

The Scotsman

Джулиан Барнс – хамелеон британской литературы. Как только вы пытаетесь дать ему определение, он снова меняет цвет.

The New York Times

Как антрепренер, который всякий раз начинает дело с нуля, Джулиан никогда не использует снова тот же узнаваемый голос... Опять и опять он изобретает велосипед.

Джей Макинерни

Лишь Барнс умеет с таким поразительным спокойствием, не теряя головы, живописать хаос и уязвимость человеческой жизни.

The Times

По смелости и энергии Барнс не имеет себе равных среди современных британских прозаиков.

New Republic

Современная изящная британская словесность последних лет двадцати – это, конечно, во многом именно Джулиан Барнс.

Российская газета

Тонкая настройка – ключевое свойство прозы буковевского лауреата Джулиана Барнса. Барнс рассказывает о едва уловимом – в интонациях, связях, ощущениях. Он фиксирует свойства «грамматики жизни», как выразится один из его героев, на диво немногословно... В итоге и самые обыденные человеческие связи оборачиваются в его прозе симфонией.

Майя Кучерская (Psychologies)

«Попугай Флобера» – восхитительный роман, насыщающий ум и душу... Это книга, которой нужно упиваться.

Джозеф Хеллер

Подлинная жемчужина – роман настолько литературный и в то же время беззастенчиво увлекательный. Bravo!

Джон Ирвинг

Бесконечный источник пищи для размышлений – и стилистический восторг. Шедевр в буквальном смысле слова.

Жермен Грир

Открываешь роман – и невозможно оторваться... Завораживающе, по-настоящему оригинально.

Филип Ларкин

При всей бездне заложенной в «Попугай Флобера» эрудиции, читая эту книгу, невозможно удержаться от смеха. Никогда не знаешь, что Барнс выкинет на следующей странице.

Daily Express

«Попугай Флобера» – захватывающая и в то же время очень веселая книга. Возможно, это самый остроумный антироман со времени «Бледного огня» Набокова. Барнса недаром сравнивают с такими писателями, как Джойс и Кальвино.

Boston Globe

Этот роман – почти нон-фикшн, а именно – очень затейливо аранжированная биография Флобера; коллекция эссе об авторе «Бовари»: его чувстве стиля, женщинах, отношениях с железной дорогой, животными и т. д. Конечная цель исследований безупречна: рассказчик пытается выяснить подлинность чучела попугая, якобы стоявшего у Флобера на письменном столе в течение трех недель. Оммаж Флоберу исполнен с технической точки зрения потрясающе артистично. Барнс не жонглирует цитатами, подгоняя их под эффектные теории: он медленно копошится в классических флоберовских метафорах, смакуя, обсасывает цитаты и очень сдержанно, неагрессивно, без ролан-бартовских разоблачений, разбирает некоторые флоберовские пассажи. Как Бувар и Пекюше, он переписывает факты и снабжает их своими замечаниями, вплетая попутно сюжеты и метафоры из самого Флобера.

Лев Данилкин (Афиша)

Барнс выбирает всякие бытовые подробности из жизни Флобера, и располагает их так, что получается не только биографический роман о великом писателе, но и эстетический трактат, и картина провинциальной французской жизни как в его, так и в наше время, и собрание всяких забавных мелочей – то, что американцы называют «тривиа», и своего рода пародия – не на Флобера, а на литературу вообще – с одновременным апофеозом литературы, искусства как чего-то высшего жизни. И тут же – разоблачение литературы, деконструкция, и новое ее вознесение в этом ироническом принижении.

Борис Парамонов (Радио «Свобода»)

Неудивительно, что для своего романа английский писатель выбрал именно фигуру Флобера, ведь сам Барнс разделяет его эстетические воззрения о взаимодействии произведения и автора. Как и Флобер, Барнс настаивает на

том, что произведение самоценно и должно восприниматься без оглядки на личность и жизненные перипетии творца.

Все должно одинаково приниматься во внимание и одинаково подвергаться сомнению – и версия ученого, и версия дилетанта. Мир не может быть исчерпывающе объяснен ни одной из версий, взятой отдельно, только их взаимосвязь отражает его наиболее полно. Не существует никаких авторитетов, которые должны восприниматься как носители безусловной истины. Такое отношение к «авторитетному высказыванию» лежит в основе ставшей уже знаменитой барнсовской иронии.

Иностранная литература

«Попугай Флобера» – роман, принесший автору первую славу и первую номинацию на Букера, – представлял собой постмодернистский опус, в котором через историю жизни страстного поклонника Гюстава Флобера детально рассматривалась природа фанатизма.

Итоги

Барнс одержим смертью; точнее, он потрясен тем, что она существует. Отсюда и сюжет лучшего его романа «Попугай Флобера»: protagonista путешествует по местам и временам жизни и творчества нормандского мученика стиля, пытаясь то ли заслонить, то ли объяснить себе совсем иной сюжет – смерть своей жены. Попугай (пародия на Святой Дух во флоберовском «Простом сердце») в барнсовском романе становится жутковатым символом назойливой памяти вдовца и болтливости призвания беллетриста. В сущности, все остальные книги Барнса будто написаны этим самым попугаем Флобера, чучело которого разыскивал герой одноименного романа. А сам Барнс, помешанный на авторе «Саламбо» и «Бувара и Пекюше», – чем он не попугай Флобера?

Кирилл Кобрин (Октябрь)

1. Попугай Флобера

Биографию друга надо писать так, словно ты за него мстишь.
Флобер. Из письма к Эрнесту Фейдо, 1872

Шестеро североафриканцев играют в шары под статуей Флобера. Звонкие удары перебивают глухой ропот уличной пробки. Коричневая рука посылает вперед серебряную сферу – прощальным, ироничным, ласкающим движением пальцев. Шар приземляется, тяжело подсакивает, прочерчивает борозду в медленно оседающей твердой пыли. Бросающий остается стоять изящной временной статуей: колени не до конца выпрямлены, правая ладонь самозабвенно раскрыта. Закатанные рукава белой рубашки, голая до локтя рука, клякса на запястье. Не часы, как я вначале подумал, не татуировка, а цветная переводная картинка: лицо политика-пророка, которого так уважают в пустыне.

Давайте начнем со статуи: той, что наверху, не временной, не изящной, с бронзовыми дорожками слез, с небрежно повязанным галстуком, в жилете и мешковатых брюках, с отвисшими усами; глядящей холодно и недоверчиво. Взгляд писателя направлен на юг, от площади Кармелитов к собору, поверх презираемого им города, который был равнодушен к нему в ответ. Голова заносчиво поднята – только голуби могут увидеть его лысину в полном объеме.

Это не та статуя, что была вначале. Немцы забрали первого Флобера в 1941 году, вместе с оградами и дверными молотками. Возможно, его переплавили на кокарды. Лет десять пьедестал стоял пустой. Потом мэр Руана, большой любитель памятников, обнаружил гипсовую форму – сделанную русским скульптором по имени Леопольд Бернштам, – и городской совет одобрил отливку новой статуи. Руан приобрел солидный металлический памятник – 93 процента меди, 7 процентов олова: литейная фирма Рюдье из Шатийонсу-Банье заверяет, что такой сплав – гарантия против ржавчины. Два других города, Трувиль и Барантен, внесли в проект свою лепту и получили каменные статуи. Эти оказались менее прочными. В Трувиле Флоберу пришлось подлатать бедро, и кончики усов у него отвалились, так что из бетонных обломков над верхней губой, словно прутья, торчат куски проволочного каркаса.

Может быть, литейщики не врут, может быть, эта вторая статуя окажется долговечной. Но я не вижу особых оснований для такой уверенности. Ничто, имевшее отношение к Флоберу, не отличалось долговечностью. Он умер немногим более ста лет назад, и все, что осталось от него, – это бумага. Бумага, идеи, фразы, метафоры, чеканная проза, готовая зазвучать. Это, кстати, именно то, чего он сам бы и хотел; сентиментальные жалобы – удел его почитателей. Дом писателя в Круассе снесли вскоре после его смерти, и на его месте построили фабрику, где извлекают спирт из подпорченной пшеницы. Не так уж трудно избавиться и от его изображения: если один мэр, любитель статуй, смог поставить памятник, другой – к примеру, какой-нибудь партийный начетчик, который знает о Флобере только то, чего нахватался из Сартра, – может с тем же рвением его убрать.

Я начал с памятника, поскольку именно с него началось мое паломничество. Почему литература заставляет нас преследовать литератора? Почему мы не можем оставить его в покое? Разве книг недостаточно? Флобер хотел, чтобы было достаточно: мало кто из писателей так верил в объективную реальность текста и незначительность личности автора; и все-таки мы упрямо ищем эту личность. Образ, лицо, подпись; статуя из девяноста трех процентов меди и фотография Надара; лоскут одежды, прядь волос. Отчего нас так тянет к реликвиям? Разве мы недостаточно верим словам? Или приметы прожитой жизни содержат в себе какую-то дополнительную правду? Когда умер Роберт Льюис Стивенсон, его предприимчивая шотландская няня начала понемногу продавать волосы, которые она якобы срезала с головы писа-

теля за сорок лет до того. Верящие, ищущие, идущие по следу купили столько этих волос, что их хватило бы для набивки дивана.

Я решил отложить Круассе на потом. Я приехал в Руан на пять дней, и детский инстинкт подсказывал оставить лучшее на десерт. Не этот ли импульс иногда руководит писателями? Подожди, подожди, лучшее еще впереди? Если так, то как же мучительно-дразнящи неоконченные книги. Две такие сразу приходят на ум: «Бувар и Пекюше», где Флобер хотел объять и покорить весь мир, со всеми человеческими стремлениями и неудачами; и «Идиот в семье», где Сартр хотел объять всего Флобера, объять и покорить главного писателя, главного буржуа, стихию, врага, пророка. Инсульт прервал первый из двух проектов, слепота положила конец второму.

Когда-то я сам хотел написать книгу. У меня были идеи, я даже делал заметки. Но я работал врачом, у меня были жена и дети. Хорошо можно делать только что-то одно: Флобер знал это. Я был хорошим врачом. Моя жена... умерла. Мои дети разлетелись; они пишут мне, когда их замучает совесть. У них своя жизнь, это естественно. «Жизнь! Жизнь! Главное – чтоб стояло!» – прочитал я на днях у Флобера. От этого восклицания я почувствовал себя каменной статуей с залатанным бедром.

Ненаписанные книги? Не стоит о них жалеть. На свете и так слишком много книг. Кроме того, я помню конец «Воспитания чувств». Фредерик и его друг Делорье оглядываются на прожитую жизнь. Их лучшее воспоминание – о том, как они еще школьниками пришли в бордель. Они тщательно планировали визит, специально завивали волосы и даже наворовали цветов для девочек. Но когда они пришли в бордель, Фредерик струсил, и оба убежали. Это был лучший день в их жизни. Флобер заставляет нас задаться вопросом: разве ожидание удовольствия – не самое надежное из удовольствий? К чему карабкаться на безрадостный чердак свершения?

Я провел первый день, бродя по Руану, пытаюсь узнать тот город, по которому прошел в 1944 году. Конечно, тогда многие районы были разрушены бомбами и снарядами, да и сейчас, через сорок лет, собор все еще ремонтируется. Не очень-то мне удалось раскрасить свои монохромные воспоминания. На следующий день я поехал на запад, в сторону Кана, а потом на север – к побережью. Следуешь советам обшарпанных оловянных указателей, которые установило *Ministère des Travaux Publics et des Transports*. Вот сюда – к *Circuit des Plages de Débarquement*, туристический маршрут по местам боевой славы. К востоку от Арроманша – пляжи, куда высадились британские и канадские войска: Голд, Джуно, Сорд. Не слишком звучные имена; гораздо менее запоминающиеся, чем Омаха или Юта. Если, конечно, считать, что события запоминаются благодаря словам, а не наоборот.

Грей-сюр-Мер, Курсель-сюр-Мер, Вер-сюр-Мер, Анель, Арроманш. По крошечным переулкам неожиданно доходишь до *Place des Royal Engineers* или *Place W. Churchill*. Ржавые танки несут караул у пляжных домиков; бетонные монументы, вроде корабельных труб, провозглашают по-английски и по-французски: «Здесь 6 июня 1944 года благодаря героизму союзников была освобождена Европа». Здесь тихое место, совсем не зловещее. В Арроманше я бросил две однофранковые монетки в *Télescope Panoramique (Très Puissant 15/60 Longue Durée)*, чтобы проследить изгиб морзянки Малбери-харбор далеко в море. Точка, тире, тире, тире – бетонные кессоны торчат из водной глади. Сейчас эти квадратные обломки войны захвачены бакланами.

Я пообедал в *Hôtel de la Marine* с видом на гавань. Здесь, совсем близко, погибли мои друзья – те годы принесли с собой неожиданные дружбы, – и все-таки я оставался равнодушен. Пятидесятая бронетанковая дивизия, Вторая британская армия. Из укрытия выползли воспоминания, но не эмоции; не было даже воспоминаний об эмоциях. После обеда я пошел в музей и посмотрел фильм о десанте, потом проехал девять километров до Байе, чтобы отдать дань другому десанту, пересекавшему Ла-Манш девятью веками ранее. Гобелен королевы Матильды как горизонтальное кино – кадры идут впритык друг к другу. Оба события

кажутся одинаково неправдоподобными: одно слишком отдаленное, чтобы быть правдой, другое слишком знакомое, чтобы быть правдой. Как удержать прошлое? Возможно ли это вообще? Когда я был студентом-медиком, на танцах в конце семестра какие-то шутники запустили в зал поросенка, обмазанного жиром. Он проскальзывал между ногами, выворачивался из рук, истошно визжал. Люди падали, пытаясь поймать его, и выглядели при этом довольно глупо. Прошлое часто ведет себя как этот поросенок.

На третий день в Руане я отправился в Отель-Дё – больницу, в которой отец Флобера был главным хирургом и где прошло детство писателя. Путь туда пролегает по авеню Гюстава Флобера, мимо типографии «Флобер» и закусочной «Ле Флобер» – заблудиться мудрено. У больницы припаркован большой белый хетчбэк «пежо», весь в синих звездах, с номером телефона и надписью *AMBULANCE FLAUBERT*. Писатель как целитель? Едва ли. Вспоминается, как Жорж Санд по-матерински упрекнула младшего коллегу: «Ты даришь опустошение, – писала она, – а я – утешение». Надо было написать на «пежо» *AMBULANCE GEORGE SAND*.

В Отель-Дё меня встретил вертлявый худой *gardien* – неожиданно в белом халате. Он явно не был ни врачом, ни фармацевтом, ни крикетным судьей. Белые одежды предполагают стерильность и чистоту суждений. Зачем они музейному зрителю? Чтобы защитить от микробов детство Флобера? Он объяснил, что музей отчасти посвящен Флоберу, а отчасти – истории медицины, а затем торопливо провел меня по залам, с шумной деловитостью запирая за нами двери. Мне показали комнату, где родился Флобер, флакон из-под его одеколона, его табакерку, его первую журнальную статью. Разнообразные изображения писателя демонстрировали разительную перемену, которую претерпел миловидный юноша, превратившись в рыхлого лысеющего буржуа. Одни говорят – сифилис. Обычное для XIX века старение, возражают другие. А может быть, его тело обладало чувством такта: как только дух объявил, что безвременно состарился, плоть тут же подстроилась. Я все время напоминаю себе, что волосы у него были светлые – на фотографиях все кажется брюнетами.

В других комнатах выставлены медицинские инструменты XVIII и XIX веков – тяжелые металлические реликвии с заостренными краями, клизмы такого размера, что даже я прихожу в недоумение. Медицина в те времена, должно быть, была делом дерзким, безнадежным, кровавым; это теперь все пилюли да бюрократия. Или просто прошлое всегда колоритнее настоящего? Я изучал в свое время докторскую диссертацию брата Гюстава, Ашиля. Она называлась «Некоторые соображения по поводу операции на ущемленной грыже». Братская параллель – диссертация Ашиля стала метафорой Гюстава: «Сквозь идиотизм моей эпохи я чувствую волны ненависти, которая меня душит. Она выплескивается дерьмом мне в рот, как при ущемленной грыже. Но я хочу сохранить, удержать, укрепить ее. Я сделаю из нее пасту и вымажу девятнадцатый век, как покрывают навозом индийские пагоды».

Соединение этих двух музеев вначале кажется странным. Однако оно наполнилось смыслом, когда я вспомнил знаменитую карикатуру Лемо, где Флобер препарирует Эмму Бовари. Писатель держит на длинной вилке кровоточащее сердце, которое он с триумфом вырвал из груди героини. Он демонстрирует этот орган, словно уникальный хирургический экспонат, а слева на картинке чуть видны ноги лежащей на столе истерзанной Эммы. Писатель-мясник, чувствительная скотина.

Потом я увидел попугая. Он сидел в маленькой нише, ярко-зеленый, широкоглазый, любопытно склонив голову набок. Надпись на его насесте гласила: «*Psittacus*. Этого попугая Флобер позаимствовал в Музее Руана и держал на своем письменном столе во время написания “Простой души”, где его зовут Лулу и он принадлежит Фелисите, главной героине произведения». Изложенные факты подтверждаются ксерокопией письма Флобера: попугай, пишет он, провел на его столе три недели, и вид птицы уже начал его раздражать.

Лулу отлично сохранился, перья все такие же яркие и вид такой же раздражающий, как, наверное, и сто лет тому назад. Я смотрел на птицу и, к своему удивлению, чувствовал живую

связь с писателем, который столь надменно отказал потомкам в праве интересоваться им как личностью. Его памятник – всего лишь дубликат, его дом снесен, а книги, само собой, живут собственной жизнью – отклик на них не относится к автору. Но этот обыкновенный зеленый попугай, чудом сохранившийся в обыкновенном музее, внезапно заставил меня почувствовать, что я почти знаком с Флобером. Я был растроган и обрадован.

По пути домой я купил учебное издание «Простой души». Вы, наверное, знаете, о чем это. Это повесть о бедной необразованной служанке по имени Фелисите, которая полвека служила своей госпоже, кротко жертвуя собственной жизнью ради других. Она по очереди привязывается то к вероломному жениху, то к детям хозяйки, то к племяннику, то к старику с опухолью на руке. Все они так или иначе уходят из ее жизни: умирают, уезжают, просто забывают о ней. Неудивительно, что чаяния религии приходят на помощь отчаянной жизни.

Последним звеном в убывающей цепи привязанностей Фелисите становится Лулу, попугай. Когда и Лулу в свой черед умирает, Фелисите отдает набить из него чучело. Она не расстается с этой реликвией и даже молитвы шепчет, встав на колени перед птицей. В ее простой душе рождается некоторая теологическая путаница: она думает, не лучше ли изображать Святого Духа не в виде голубя, как это обычно делают, а в виде попугая? Логика, бесспорно, на ее стороне: попугаи и Святые Духи могут говорить, а голуби – нет. В конце повести и сама Фелисите умирает. «Губы ее сложились в улыбку. Сердце билось все медленнее, все невнятнее, все слабее – так иссякает фонтан, так замирает эхо. И когда Фелисите выпускала последний вздох, ей казалось, что в разверстых небесах огромный попугай парит над ее головой».

Тон повествования здесь жизненно важен. Представьте себе, как технически трудно написать историю, в которой плохо набитое чучело птицы с дурацким именем становится воплощением одной трети Святой Троицы, и при этом у автора нет намерения впадать в сентиментальность, сатиру или богохульство. Представьте, что эту историю к тому же нужно рассказывать с точки зрения невежественной старухи, да так, чтобы она не звучала ни уничижительно, ни жеманно. Ведь цель «Простой души» совсем не в этом: попугай – это пример блестящего, выверенного флюберовского гротеска.

Мы можем, если захотим (и если ослушаемся Флюбера), снабдить птицу разными интерпретациями. Например, можем провести параллели между жизнью преждевременно состарившегося романиста и жизнью своевременно состарившейся Фелисите. (Критики уже науськивают своих хорьков.) Оба были одиноки, жизнь обоих была омрачена потерями, оба проявили стойкость перед лицом тоски. Те, кто хочет пойти еще дальше, могут сказать, что эпизод, когда Фелисите сбивает почтовая карета по дороге на Онфлер, – тонкий намек на первый эпилептический припадок Флюбера, приключившийся с ним на дороге возле Бур-Ашара. Не знаю. Насколько тонким должен быть намек, чтобы порваться?

По крайней мере в одном принципиальном вопросе Фелисите – полная противоположность Флюберу. Она почти лишена дара речи. Но можно возразить, что потому и появляется Лулу. Попугай, наделенный даром речи; диковинная тварь, способная издавать человеческие звуки. Неслучайно ведь Фелисите путает попугая со Святым Духом, дарителем языков.

Фелисите + Лулу = Флюбер? Не совсем, но можно сказать, что его черты есть в них обоих. Фелисите достался его характер, Лулу – голос. Можно сказать, что попугай, обладающий даром членораздельной речи практически без всяких умственных способностей, – это Чистое Слово. Будь вы французским профессором, вы бы сказали, что он – *un Symbole de Logos*. Будучи англичанином, я торопливо возвращаюсь к телесному: к этому лощеному бойкому созданию, которого я видел в Отель-Дё. Я представляю, как Лулу сидит у Флюбера на письменном столе и смотрит на него, словно насмешливое отражение в кривом зеркале. Неудивительно, что три недели этого пародийного присутствия вывели Флюбера из себя. Разве писатель не подобен ученому попугаю?

На этом этапе стоит, видимо, рассказать о четырех главных встречах писателя с членами попугайского семейства. В тридцатых, во время ежегодных каникул в Трувиле, Флоберы регулярно навещали отставного капитана по имени Пьер Барбей; согласно свидетельствам, среди его домочадцев был великолепный попугай. В 1845 году Гюстав проезжал через Антиб по пути в Италию и встретил больного длиннохвостого попугая, который удостоился упоминания в его дневнике; хозяин осторожно возил попугая на краю своей телеги, а во время обеда заносил его в помещение и устраивал на каминной доске. В дневнике отмечена «странная любовь» между птицей и человеком. В 1851 году, возвращаясь с Востока через Венецию, Флобер видел, как попугай в золотой клетке кричит на весь Гранд-канал, подражая гондольеру: «*Fà eh, capo die*». В 1853 году Флобер снова был в Трувиле и снимал жилье у аптекаря; там ему не давал покоя попугай, постоянно скрипевший: «*As-tu déjeuné, Jako?*» и «*Coci, mon petit coco*». Кроме того, надоедливое создание насвистывало «*J'ai du bon tabac*». Была ли одна из этих четырех птиц – целиком или отчасти – прототипом Лулу? И видел ли Флобер хоть одного живого попугая между 1853 и 1876 годом, когда он позаимствовал чучело из Музея Руана? Такие вопросы я оставляю профессионалам.

Я сидел на кровати у себя в гостинице; из соседней комнаты раздавался телефонный звонок, подражающий всем прочим телефонным звонкам. Я думал о попугае в нише, в полумиле отсюда. Нахальная птица, вызывающая привязанность и даже благоговение. Что сделал с ней Флобер, закончив «Простую душу»? Упрятал в шкаф и не вспоминал о ее раздражающем существовании, пока не полез за теплым пледом? А потом, четыре года спустя, когда он лежал на диване, умирая от апоплексического удара, – представлял ли он, как вверху парит огромный попугай – на этот раз не встреча со Святым Духом, а прощание со Словом?

«Я страдаю склонностью к метафорам, явно избыточной. Сравнения одолевают меня, как вши, я только и успеваю, что давить их». Слова легко приходили к Флоберу, но он видел внутреннюю неадекватность Слова. Помните его печальное определение из «Госпожи Бовари»: «Человеческая речь подобна разбитому котлу, и на нем мы выстукиваем мелодии, под которые впору плясать медведям, хотя нам-то хочется растрогать звезды». Так что выбор за вами: можете считать Флобера придирчивым и тонким стилистом или человеком, видевшим трагическую недостаточность языка. Последователи Сартра предпочитают второй вариант, для них Лулу, бездумно повторяющий услышанные фразы, – это косвенное признание писателя в собственном бессилии. Попугай/писатель смиренно принимает язык как данность, косную и повторяющуюся. Сам Сартр упрекал Флобера за пассивность, за веру (или соучастие в вере) в то, что *on est parlé* – все уже сказано.

Означает ли этот дрожащий звук, что еще один тонкий намек того и гляди порвется? В какой-то момент вдруг понимаешь, что слишком многое вчитал в историю, – именно тогда чувствуешь себя особенно незащищенным, одиноким и даже, может быть, глуповатым. Ошибается ли критик, считая Лулу символом Слова? Ошибается ли читатель – или, хуже того, впадает в сентиментальность, – когда считает попугая в Отель-Дьё образом авторского голоса? Я, во всяком случае, считал именно так. Может, это делает меня таким же простаком, как Фелисите.

Но как бы вы ни называли «Простую душу» – повестью ли, текстом, – она эхом отдаётся в мозгу. Позвольте мне процитировать Дэвида Хокни, который пишет, несколько сбивчиво, но искренне, в автобиографии: «Эта вещь произвела на меня большое впечатление, я почувствовал, что могу вникнуть в такой сюжет и как следует его использовать». В 1974 году мистер Хокни создал две гравюры: бурлескная версия Заграницы в представлении Фелисите (воровато крадущаяся обезьяна с перекинутой через плечо женщиной) и безмятежная сцена: спящая Фелисите с Лулу. Может быть, со временем он нарисует еще.

В последний день я отправился из Руана в Круассе. Шел нормандский дождь, мягкий и плотный. То, что когда-то было отдаленной деревушкой на берегу Сены среди зеленых хол-

мов, теперь находится в шумном районе доков. Стук коперов, нависающие краны, суетливая коммерция реки. От проезжающих грузовиков дребезжат окна неизбежного бара «Флобер».

Гюстав отмечал и одобрял восточный обычай сносить дома умерших; так что снос его собственного дома, вероятно, огорчил бы его гораздо меньше, чем его читателей и преследователей. Фабрика, гнавшая спирт из подпорченной пшеницы, тоже была снесена в свой срок; и на этом месте теперь стоит большой бумажный завод – что гораздо уместнее. Все, что осталось от жилища Флобера, – это маленький одноэтажный павильон в нескольких сотнях ярдов дальше по дороге: летний домик, в который писатель удалялся, когда ему нужно было еще больше одиночества, чем обычно. Сейчас домик выглядит заброшенным и бесполезным, но все же это лучше, чем ничего. Снаружи на террасе в память автора «Саламбо» установлен обломок колонны, откопанный в Карфагене. Я толкнул калитку; залаяла овчарка, подошла седовласая смотрительница. На этот раз не в белом халате, а в хорошо скроенной синей форме. Пока я разогревал свой французский, мне вспомнился символ ремесла карфагенских толмачей в «Саламбо»: у каждого на груди был вытатуирован попугай. Сегодня на коричневых запястьях игроков в шары красуется переводная картинка с портретом Мао.

В павильоне только одна комната, квадратная, с шатрообразным потолком. Она, как комната Фелисите, «напоминала и молельню, и базар». Здесь тоже можно было наблюдать это ироничное сочетание всякой всячины и серьезных реликвий, как во флоберовском гротеске. Предметы, выставленные для обозрения, были расположены так неудачно, что порой мне приходилось опускаться на колени, чтобы заглянуть в витрины: поза молящегося – но также и искателя сокровищ в лавке старьевщика.

Фелисите находила утешение в собрании случайных предметов, объединенных лишь привязанностью своей владелицы. Флобер делал то же самое – хранил мелочи с ароматом воспоминаний. Спустя годы после смерти матери он просил подать ее старую шаль и шляпу и усаживался с ними, чтобы немного помечтать. Посетители павильона в Круассе могут почти последовать его примеру – любой из небрежно выложенных экспонатов готов внезапно схватить вас за душу. Портреты, фотографии, глиняный бюст; трубки, табакерка, нож для разрезания конвертов; чернильница в виде жабы с открытой пастью; золотой Будда, который всегда стоял на столе писателя, но никогда его не раздражал; прядь волос – естественно, светлее, чем на фотографиях.

Легко пропустить два невзрачных экспоната в боковой витрине: стаканчик, из которого Флобер выпил свой последний глоток воды за несколько мгновений до смерти, и мятый белый платок, которым он вытирал лоб последним, может быть, в своей жизни движением. Столь обычный реквизит, не предполагающий рыданий и мелодрамы, заставил меня почувствовать себя так, будто я присутствую при смерти друга. Мне было даже неловко: я ничего не ощутил три дня назад, когда стоял на берегу, где погибли мои товарищи. Может быть, в этом преимущество дружбы с теми, кто умер давно: чувства к ним не ослабевают.

Потом я увидел его. На высоком шкафу сидел еще один попугай. Тоже ярко-зеленый. Тоже, согласно смотрительнице и табличке на насесте, тот самый попугай, которого Флобер позаимствовал из Музея Руана на время работы над «Простой душой». Я попросил разрешения снять со шкафа второго Лулу, поставил его осторожно на угол витрины и снял стеклянный купол.

Как сравнить двух попугаев, один из которых уже идеализирован памятью и метафорой, а другой – всего лишь крикливый самозванец? Сразу же мне показалось, что второй попугай выглядит менее аутентично, чем первый, в основном потому, что он казался более добродушным. Голова его сидела на туловище прямее, и выражение было не такое раздражающее, как у птицы из Отель-Дьё. А потом я понял всю фальшь этих рассуждений: Флоберу ведь не предлагали нескольких попугаев на выбор; и даже этот второй попугай, хоть он и выглядел более приятным компаньоном, мог через пару недель начать действовать на нервы.

Я поделился со смотрительницей своими мыслями о подлинности попугая. Она, разумеется, встала на сторону своей птицы и уверенно отвергла претензии Отель-Дьё. Я размышлял, знает ли кто-нибудь точный ответ. Я размышлял еще, важно ли это кому-нибудь кроме меня, столь поспешно придавшего такое значение первому попугаю. Голос писателя к! о ска- зал, что его так легко найти? Таков был упрек второго попугая. Пока я стоял и смотрел на, возможно, неподлинного Лулу, солнце осветило угол комнаты и заставило оперение сверкнуть яркой желтой искрой. Я поставил птицу на место и подумал: я сейчас старше, чем когда-либо был Флобер. Такая дерзость с моей стороны, так печально и незаслуженно.

Умирает ли кто-то вовремя? Только не Флобер; и не Жорж Санд, которая не дожила до того, чтобы прочесть «Простую душу». «Я начал эту вещь исключительно из-за нее, только чтобы доставить ей удовольствие. Она умерла, когда работа была в разгаре. Так разбиваются все наши мечты». Лучше ли не иметь ни мечты, ни дела, ни – потом – отчаянья незавершенной работы? Может быть, как Фредерику и Делорье, нам всем следовало бы предпочесть утешение несбывшегося: запланированный поход в бордель, удовольствие предвкушения и потом, годы спустя, не память о поступках, а память о прошлом предвкушении? Разве так не чище, не безболезненнее?

Когда я пришел домой, раздвоившиеся попугаи продолжали порхать в моем сознании, один из них приветливый и прямодушный, другой – нахальный и любопытный. Я написал письма разным ученым мужам, которые могли знать, была ли проведена должная идентификация попугаев. Я написал во французское посольство и редактору мишленовских путеводителей. Я также написал мистеру Хокни. Я рассказал ему о моей поездке, спросил, был ли он когда-нибудь в Руане и имел ли в виду кого-то из этих попугаев, когда создавал гравюру со спящей Фелисите. А если нет, то, может быть, он, в свою очередь, позаимствовал попугая из музея и использовал как модель. Я предостерег его насчет коварной склонности этих птиц к посмертному партеногенезу.

Я надеялся вскоре получить ответы.

2. Хронология

I

1821

У Ашиля– Клеофаса Флобера, главного хирурга больницы Отель-Дьё в Руане, и Анны Жюстины Каролины Флобер, урожденной Флерио, рождается второй сын, Гюстав. Эти люди принадлежат к зажиточному среднему классу; семья владеет несколькими поместьями в окрестностях Руана. Стабильная, просвещенная, доброжелательная и в меру амбициозная среда.

1825

В семейство Флобер поступает на службу Жюли, няня Гюстава; она останется в семье до самой его смерти пятьдесят пять лет спустя. На протяжении всей жизни у Флобера почти не будет проблем, связанных со слугами.

Прибл. 1830

Знакомится с Эрнестом Шевалье, первым из своих близких друзей. Тесная, верная и плодотворная дружба связывала Флобера со многими людьми и поддерживала его на протяжении всей жизни; особо следует отметить Альфреда ле Пуатевена, Максима Дюкана, Луи Буйе и Жорж Санд. Гюстав легко заводит друзей и обращает на них нежную, порой насмешливую заботу.

1831–1832

Поступает в Коллеж де Руан, где проявляет себя как сильный ученик с большими способностями к истории и литературе. Самое раннее из дошедших до нас произведений, эссе о Корнеле, датировано 1831 годом. В подростковые годы он сочиняет множество драматургических и прозаических произведений.

1836

Знакомится в Трувиле с Элизой Шлезингер, женой владельца немецкого музыкального издательства, и воспламеняется к ней «огромной» страстью. Эта страсть озаряет остаток его отрочества. Элиза обращается с ним ласково и нежно; они продолжают общаться на протяжении следующих сорока лет. Оглядываясь назад, он испытывает облегчение оттого, что страсть не была взаимной: «Счастье – как сифилис: если заразиться слишком рано, оно может всерьез подорвать здоровье».

Прибл. 1836

Сексуальная инициация Гюстава с одной из служанок матери. Это начало богатого и пестрого эротического пути – от борделя до салона, от мальчика-банщика из Каира до парижской поэтессы. Молодой Гюстав очень привлекателен для женщин, и его сексуальные силы восстаиваются, по его собственному свидетельству, с удивительной быстротой; но и в зрелые годы его благородные манеры, ум и слава обеспечивают ему внимание противоположного пола.

1837

Первая публикация, в руанском журнале «Колибри».

1840

Сдает экзамены на степень бакалавра. Путешествует по Пиренеям с другом семьи, доктором Жюлем Клоке. Флобера часто считают отшельником и домоседом, но на самом деле он много путешествует: в Италию и Швейцарию (1845), Бретань (1847), Египет, Палестину, Сирию, Турцию, Грецию и Италию (1849–1851), Англию (1851, 1865, 1866, 1871), АлжириТунис(1858), Германию (1865), Бельгию (1871) и Швейцарию (1874). Сравните с жизнью его альтер эго Луи Буйе, который мечтал о Китае, но не выбрался даже в Англию.

1843

Учится юриспруденции в Париже, знакомится с Виктором Гюго.

1844

Первый эпилептический припадок ставит крест на юридических штудиях в Париже; Гюстав оказывается привязан к новому семейному дому в Круассе. Впрочем, прощание с правом его не очень тревожит, а поскольку затворничество приносит уединение и стабильность, необходимые для писательской жизни, случившееся в конечном счете идет ему на пользу.

1846

Знакомится с Луизой Коле («Музой») и вступает в свою самую знаменитую связь: долгую, страстную, бурную, двухчастную (1846–1848, 1851–1854). Гюстав и Луиза не подходят друг другу по темпераменту и несовместимы по эстетическим взглядам, но их союз длится дольше, чем можно было бы предположить. Жалеть ли нам о том, что этот роман окончился? Только потому, что на этом иссяк поток великолепных писем Гюстава к Луизе.

1851–1857

Написание, публикация, процесс и триумфальное оправдание «Госпожи Бовари». *Succès de scandale*, удостоившийся похвалы столь разных писателей, как Ламартин, Сен-Бев и Бодлер. В 1846 году, сомневаясь в своей способности написать что-либо достойное публикации, Гюстав заявил: «Если в один прекрасный день я явлюсь миру, то в полных доспехах». И вот его кирасы сверкают, а копьё разит повсюду. В Кантеле, деревне по соседству с Круассе, местный кюре запрещает своим прихожанам читать роман. После 1857 года литературный успех естественным образом порождает успех в обществе: Флобера чаще видят в Париже. Он знакомится с Гонкурами, Ренаном, Готье, Бодлером и Сен-Бевом. В 1862 году у Маньи учреждается традиция литературных ужинов; с декабря того же года Флобер постоянно в них участвует.

1862

Публикация «Саламбо». *Succès fou*. Сен-Бев пишет Мэтью Арнольду: «“Саламбо” – это наше великое событие!» Роман вдохновляет несколько тематических костюмированных балов в Париже и название нового сорта птифуров.

1863

Флобер начинает посещать салон принцессы Матильды, племянницы Наполеона I. Медведь из Круассе примеряет на себя шкуру светского льва. По воскресеньям, после полудня, он принимает у себя. В том же году он впервые обменивается письмами с Жорж Санд и знакомится с Тургеневым. Дружба с русским романистом отмечает начало всевропейской известности Гюстава.

1864

Представлен Наполеону III в Компьене. Вершина светского успеха Гюстава. Он посылает камелии императрице.

1866

Кавалер ордена Почетного легиона.

1869

Публикация «Воспитания чувств»; Флобер всегда утверждал, что это его шедевр. Несмотря на легенды о героической борьбе (которые он сам подпитывает), сочинительство дается Флоберу легко. Он много жалуется, но эти жалобы мы находим в удивительно легких и блестящих письмах. На протяжении четверти столетия он выпускает большие, серьезные книги, в которые вложен глубокий исследовательский труд, с интервалом в пять – семь лет. Он может терзаться над каким-то словом, фразой, ассонансом, но у него не бывает творческих кризисов.

1874

Публикация «Искушения святого Антония». Несмотря на необычность, книга пользуется коммерческим успехом.

1877

Публикация «Трех повестей». Успех у критиков и публики: впервые «Фигаро» публикует положительную рецензию на Флобера; за три года книга выходит пятью изданиями. Флобер начинает работу над «Буваром и Пекюше». В эти его последние годы новое поколение литераторов признает его первенство среди французских романистов. Его почитают и чествуют. Его воскресные приемы становятся важными событиями литературной жизни; к Мастеру приходит познакомиться Генри Джеймс. В 1879 году друзья Гюстава учреждают ежегодные «Обеды святого Поликарпа» в его честь. В 1880 году пятеро соавторов «Меданских вечеров», включая Золя и Мопассана, преподносят ему экземпляр книги с автографами; этот дар можно считать символическим поклоном Натурализма Реализму.

1880 П

очитаемый, всеми любимый, не переставший работать до конца своих дней, Гюстав Флобер умирает в Круассе.

II

1817

Смерть Каролины Флобер (в возрасте полутора лет), второго ребенка Ашиля-Клеофаса Флобера и Анны Жюстины Каролины Флобер.

1819

Смерть Эмиля-Клеофаса Флобера (в возрасте восьми месяцев), их третьего ребенка.

1821

Рождение Гюстава Флобера, их пятого ребенка.

1822

Смерть Жюля-Альфреда Флобера (в возрасте трех лет пяти месяцев), их четвертого ребенка. Его брат Гюстав, рожденный *entre deux morts*, слаб здоровьем; все считают, что он не жилец. Доктор Флобер покупает для семьи участок на *Cimetière Monumental*, для Гюстава там заранее выкапывают маленькую могилку. Как ни странно, ребенок выживает. Он оказывается медлительным, может часами сидеть, засунув палец в рот, с выражением лица «почти бессмысленным». Для Сартра он – «идиот в семье».

1836

Начало безнадежной, навязчивой страсти к Элизе Шлезингер, которая ожесточает сердце Гюстава и лишает его возможности когда-либо испытать истинную любовь к другой женщине. Оглядываясь назад, он записывает: «У каждого из нас есть в сердце королевская спальня; я свою замуровал».

1839

Исключен из руанского коллежа за дурное поведение и непослушание.

1843

Юридический факультет Парижа объявляет результаты экзамена за первый курс. Экзаменаторы выражают свое мнение при помощи красных или черных шаров. Гюстав получает два красных и два черных шара; экзамен провален.

1844

Первый эпилептический припадок; за ним последуют другие. «Каждый припадок, – пишет позже Гюстав, – похож на кровотечение нервов. Как будто душу вырывают из тела невыносимо... Ему делают кровопускание, дают пилюли и отвары, сажают на особую диету, запрещают алкоголь и табак; необходим режим строгого ограничения и материнской заботы, а не то придется занять давно заготовленное место на кладбище. Не успев выйти в большой мир, Гюстав покидает его. «Так тебя охраняют, как девицу?» – не без оснований дразнит его позже Луиза Коле. В течение всей его жизни, за исключением последних восьми лет, госпожа Флобер неотступно печется о его благе и визирует все его передвижения. Постепенно, на протяжении нескольких десятилетий, мать становится более немощной, чем сын: к тому времени, как он почти перестает быть для нее источником беспокойства, она оказывается для него обузой.

1846

Смерть отца и вскоре после нее – смерть любимой сестры Каролины (в возрасте двадцати одного года); Гюстав становится чем-то вроде приемного отца для племянницы. Всю жизнь он испытывает удары судьбы в виде смерти близких. Но друзья могут умирать и по-иному: в июне женится Альфред ле Пуатевен. Гюстав воспринимает это как третью трагедию за год. «Ты делаешь нечто ненормальное», – жалуется он. Максиму Дюкану в этом году он пишет: «Слезы для сердца – то же самое, что вода для рыбы». Можно ли считать утешением встречу с Луизой Коле в том же году? Педантизм и упрямство плохо сочетаются с неводержанностью и собственническим инстинктом. Через каких-то шесть дней после того, как она стала его любовницей, модель их отношений уже устоялась. «Обуздай свои вопли! – пеняет он ей. – Они меня терзают. Чего ты хочешь? Что мне, бросить все и поселиться в Париже? Невозможно». Эти невозможные отношения тем не менее продолжают восемь лет. Луиза, как ни странно, неспособна понять, что Гюстав может любить ее и при этом никогда не хотеть с ней увидеться. «Если бы я был женщиной, – пишет он шесть лет спустя, – я бы не хотел себя в любовники. Интрижка – да; но близость – нет».

1848

Смерть Альфреда ле Пуатевена в возрасте тридцати двух лет. «Я думаю, что я никого не любил (мужчину или женщину) так, как я любил его». Двадцать пять лет спустя: «Не проходит дня, чтобы я не думал о нем».

1849

Гюстав читает свой первый большой труд, «Искушение святого Антония», двум ближайшим друзьям, Буйе и Дюкану. Чтение длится четыре дня, по восемь часов в день. Смущенно посоветовавшись между собой, слушатели советуют ему бросить рукопись в огонь.

1850

В Египте Гюстав заражается сифилисом. Он лысеет и становится грузен. Госпожа Флобер, встретив его в Риме в следующем году, с трудом узнает сына и находит его крайне огрубевшим. Это уже зрелый возраст. «Стоит родиться, как начинается гниение». С течением лет у него выпадут почти все зубы (останется один), его слюна почернеет от ртутных препаратов.

1851–1857

«Госпожа Бовари». Работа идет с трудом – «Когда я пишу эту книгу, я подобен человеку, который играет на пианино со свинцовыми шарами, привязанными к каждой фаланге», – а последовавшее за публикацией преследование пугает. В поздние годы Флобер испытывает неприязнь к немеркнущей славе своего шедевра, из-за которой многие считают его автором одной книги. Он говорит Дюкану, что, если бы ему повезло на бирже, он скупил бы по любой цене все экземпляры «Госпожи Бовари»: «Я бы бросил их в огонь и больше никогда не слышал о них».

1862

Элиза Шлезингер попадает в психиатрическую лечебницу с диагнозом «острая меланхолия». После публикации «Саламбо» Флобер начинает дружить с богачами. Но в финансовых делах он по-детски наивен: его мать вынуждена продавать имущество, чтобы оплачивать его долги. В 1867 году он тайно передает контроль над своими финансовыми делами мужу племянницы, Эрнесту Комманвилю. На протяжении последующих тринадцати лет неумеренные траты, некомпетентность управляющего и неблагоприятное стечение обстоятельств делают Флобера банкротом.

1869

Смерть Луи Буйе, некогда названного Флобером «сельтерской водой, которая помогает мне переваривать жизнь». «Потеряв моего бедного Буйе, я потерял своего акушера, человека, который проникал в мои мысли глубже, чем я сам». Умирает также Сен-Бев. «Еще один ушел! Наша маленькая шайка редет! С кем теперь говорить о литературе?» Публикация «Воспитания чувств»; коммерческий провал, нелестные отзывы критиков. Из ста пятидесяти друзей и знакомых, получивших по почте бесплатные экземпляры, едва ли тридцать удосужились поблагодарить.

1870

Смерть Жюль де Гонкура; из семерых друзей, учредивших ужины у Маньи в 1862 году, осталось только трое. Во время Франко-прусской войны неприятель занимает Круассе. Стыдясь своей нации, Флобер перестает носить орден Почетного легиона и решает узнать у Тургенева, что нужно сделать для получения русского подданства.

1872

Смерть госпожи Флобер. «Я осознал за последние пятнадцать дней, что моя бедная добрая матушка была существом, которое я больше всего любил. У меня как будто вырвали часть внутренностей». Умирает также Готье. «Это последний из моих душевных друзей, кто ушел. Он завершает список».

1874

Флобер дебютирует в театре с пьесой «Кандидат». Полный провал; актеры покидают сцену со слезами на глазах. Пьесу снимают с репертуара после четырех представлений. Публикация «Искушения святого Антония». «Меня разнесли все, от “Фигаро” до “Ревю де дё монд”, — отмечает Флобер. — Что меня изумляет — так это что во многих отзывах таится *ненависть* ко мне, ко мне лично; свора, решившая поносить меня... Эта лавина сквернословия меня угнетает».

1875

Финансовый крах Эрнеста Комманвиля тянет за собой и Флобера. Он продает свою усадьбу в Довиле; ему приходится умолять племянницу, чтобы та не выставляла его из Круассе. Она и Комманвиль дают ему прозвище Потребитель. В 1879 году ему приходится принять государственную пенсию, которую выхлопотали для него друзья.

1876

Смерть Луизы Коле. Смерть Жорж Санд. «Мое сердце превращается в некрополь». Последние годы Гюстава бесплодны и одиноки. Он говорит племяннице, что жалеет о своем безбрачии.

1880

Обнищавший, одинокий, изнуренный, Гюстав Флобер умирает. Золя пишет в некрологе, что четыре пятых жителей Руана о нем не слыхали, а остальные терпеть его не могли. Он оставляет «Буvara и Пеюоше» недописанным. Некоторые считают, что работа над романом его погубила; Тургенев еще давно говорил ему, что из этого материала лучше сделать рассказ. После похорон несколько скорбящих, включая поэтов Франсуа Коппе и Теодора де Банвиля, собираются на ужин в Руане, чтобы почтить покойного писателя. Сев за стол, они обнаруживают, что их тринадцать. Суеверный Банвиль настаивает на том, чтобы найти еще одного сотрапезника; зять Готье, Эмиль Бержера, отправляется на поиски. После нескольких неудачных попыток он

наконец возвращается. Новый гость, солдат на побывке, никогда не слышал про Флобера, но счастлив познакомиться с Коппе.

III

1842

Мои книги и я в одной квартире – это корнишон и уксус.

1846

В ранней молодости у меня уже было полное предвкушение жизни. Это как запах тошнотворной готовки, который проникает сквозь дымоход. Необязательно ее есть, чтобы знать: от нее стошнит.

1846

Я сделал с тобой то, что делал не раз с самыми любимыми людьми: показал им дно мешка, и они задохнулись поднявшейся оттуда едкой пылью.

1846

Моя жизнь приклепана к другой жизни [госпожи Флобер], и так будет, пока та, другая, длится. Морская водоросль в порывах ветра, я привязан к утесу прочной нитью. Стоит ей порваться – и куда полетит бедная бесполезная былинка?

1846

Ты хочешь подрезать дерево и из его диких, густых ветвей, которые торчат во все стороны, вдыхая воздух и солнце, сделать милую, незатейливую шпалеру, которая прильнет к стене и потом в самом деле будет приносить прекрасные плоды, доступные даже ребенку без лестницы.

1846

Не думай, что я принадлежу к вульгарной породе тех мужчин, которые испытывают отвращение после удовольствия, у которых любовь существует только в виде похоти. Нет, то, что поднимается во мне, не опадает так быстро. Если мох и покрывает здания моего сердца, стоит лишь им вознестись, то должно пройти много времени, прежде чем они превратятся в руины – если это вообще произойдет.

1846

Я как сигары – меня можно зажечь, только если пососать.

1846

Среди моряков есть те, кто открывает миры, добавляя новые земли к землям и звезды к звездам; это мастера – великие, вечно прекрасные. Другие сеют ужас из своих орудийных портов, грабят, богатеют и толстеют. Есть те, кто ищет золото и шелк под иными небесами, и те, кто ловит в свои сети лосося для гурманов и треску для бедняков. Я – незаметный и терпеливый ловец жемчуга, что ныряет на самое дно, а возвращается с пустыми руками и посиневшим лицом. Роковое влечение тянет меня в бездны мысли, в те пучины, которые сильным никогда не исчерпать. Я проведу жизнь, наблюдая за океаном искусства, где другие путешествуют и сражаются, и порой развлекаю себя, нырнув за зелеными или желтыми, никому не нужными ракушками. Их я сберегу для себя, ими покрою стены моей хижины.

1846

Я лишь литературная ящерица, что греется весь день под великим солнцем Красоты. Вот и все.

1846

Во мне – в глубине моей души – кроется отъявленная, личная, горькая и непрестанная *досада*, которая мешает мне радоваться чему угодно, которая заполняет мою душу и губит ее. Она поднимается по любому поводу, как вздувшиеся трупы утопленных псов, что всплывают, несмотря на камни, привязанные им на шею.

1847

Люди похожи на кушанья. Многие буржуа кажутся мне подобными вареной говядине: много пара, никакого сока, никакого вкуса. Этой пищей мужланов можно быстро набить желудок. Многие же подобны крольчатине, речной рыбе, мелким угрям, живущим в иле, устрицам разного посола, телячьим головам и подслащенной каше. А я похож на сыр «макарони», жидковатый, вонючий; чтобы он понравился, к нему надо привыкнуть. Это в конце концов происходит, но сначала вас много раз вывернет наизнанку.

1847

У некоторых нежное сердце и крепкий ум. У меня – наоборот: ум мой нежен, а сердце грубо. Я словно кокосовый орех, который прячет молоко под несколькими слоями древесины. Чтобы его расколоть, нужен топор, но что там чаще всего можно найти? Какую-то сметану.

1847

Тебе хотелось найти во мне огонь, который жжет, сияет, освещает, трещит радостными искрами, высушивает влажные доски, оздоравливает воздух и возвращает жизнь. Увы, я – несчастный ночник, чей красный фитиль потрескивает в дурном масле, полном воды и пыли.

1851

Моя дружба – как верблюд. Стоит ей сделать шаг, и ее уже не остановить.

1852

Со старостью сердце облетает, как деревья. Иным порывам ветра невозможно противостоять. Каждый приходящий день сдирает очередные листья, не говоря уже о бурях, которые разом ломают несколько веток. И вся эта зелень не расцветет снова по весне.

1852

Какая, однако, дурная штука жизнь! Это суп, в котором плавают волосы, а его все-таки надо съесть.

1852

Я смеюсь надо всем, даже над тем, что больше всего люблю. Нет таких вещей, фактов, чувств или людей, по которым я не проходил своим наивным буффонством, как железным валиком, что придает блеск тканям.

1852

Я люблю свой труд яростной и извращенной любовью, как аскет любит власяницу, которая царапает ему пузо.

1852

У всех у нас, нормандцев, есть немного сидра в жилах; это горькое, сброженное питье, которое иногда выбивает затычку из бочки.

1853

Что касается разговора о моем немедленном переезде в Париж, его следует отложить или, вернее, немедленно разъяснить. Для меня это сейчас *невозможно*... Я хорошо себя знаю – я так потеряю целую зиму, а то и всю книгу. Буйе говорит со своей колокольни – он-то рад писать где угодно и вот уже двенадцать лет работает, невзирая на постоянные помехи... Я как бидоны с молоком: чтобы получить сливки, их надо оставить в покое.

1853

Знаешь ли ты, что я поражаюсь твоей легкости? За десять дней ты напишешь шесть историй! <...> Я – как старый акведук. В русле моей мысли скопилось столько мусора, что она течет медленно и падает с кончика моего пера по капле.

1854

Я прибираю каждую вещь на свое место, я как шкаф, у меня есть ящики, во мне столько отделений, сколько в старом саквояже, трижды перевязанном кожаным ремнем.

1854

Ты требуешь любви, ты жалуешься, что я не посылаю тебе цветов? Цветы, говоришь? Ну так найди себе свежевылупившегося бравого юнца с хорошими манерами и общепринятыми идеями. Я – как тигр: у них на конце орудия есть склеившиеся волоски, которыми они ранят самку.

1857

Книги делаются не как дети, а как пирамиды, по вдумчиво разработанному чертежу, установкой гигантских глыб друг на друга, собственной спиной, временем и потом, и все напрасно! Она торчит себе в пустыне! Но величественно над ней возвышается. Шакалы мочатся у основания, буржуа взбираются наверх, и т. д. Продолжи сравнение.

1857

Есть латинское выражение, которое примерно означает: «Подбирать динарий зубами из дерьма». Эту риторическую фигуру применяли к скупцам. Я – как они, я не остановлюсь ни перед чем, чтобы найти золото.

1867

Это правда, что многие вещи выводят меня из себя. В день, когда я больше не буду негодовать, я упаду лицом вниз, как кукла, из которой вынули подпорку.

1872

Сердце остается нетронутым, но мои чувства обострены с одной стороны и притуплены с другой, как старый переточенный нож с зарубками, который легко ломается.

1872

Никогда духовные интересы не значили так мало. Никогда ненависть ко всякому величию, презрение к Красоте, проклятия литературе, наконец, не были так выражены. Я всегда пытался жить в башне из слоновой кости, но нечистоты накатывают как прибой и сокрушают ее стены.

1873

Я все еще продолжаю составлять предложения, как буржуа, которые у себя на чердаке делают кольца для салфеток – от нечего делать и для развлечения.

1875

Несмотря на твои советы, я не могу достичь «очерствелости»... Мои чувства перевозбуждены; нервы и мозг у меня больны, очень больны, и я это чувствую. Ну вот! Хорошо же! Вот я снова принялся жаловаться, а я вовсе не хочу тебя печалить. Я ограничусь тем, что напомним твоё сравнение с «камнем». Так вот знай, что старый гранит иногда превращается в слоистую глину.

1875

Я чувствую, будто меня лишили корней и гонят туда-сюда, как мертвую водоросль.

1880

Так когда будет закончена моя книга? Вопрос. Чтобы она выпита в следующую зиму, мне надо не терять ни минуты. Но порой мне кажется, что я расплываюсь, как старый камамбер, так я устал.

3. Кто нашел, тот и хозяин

Можно дать определение рыболовной сети двумя способами, в зависимости от точки зрения. Скорей всего, вы скажете, что это ячеистая снасть для ловли рыбы. Но можно, не нанося особого ущерба логике, перевернуть образ и определить сеть так, как однажды сделал шутник-лексикограф: он назвал сеть совокупностью дырок, скрепленных веревкой.

То же самое можно сделать с биографией. Сеть наполняется, биограф вытягивает ее; потом сортирует, выбрасывает, укладывает, разделяет и продает. Однако подумайте и о том, что не попало в его улов: ведь наверняка много чего ускользнуло. Вот на полке стоит биография: толстая и респектабельная, по-буржуазному самодовольная. Жизнь за шиллинг – и вы узнаете все факты, за десять фунтов к этому прибавятся еще и гипотезы. Но подумайте обо всем, что осталось неизвестным, что навсегда исчезло с последним дыханием героя биографии. Ведь самый искусный биограф рискует остаться в дураках, если его предмет, видя приближение жизнеописателя, вздумает над ним подшутить.

Я познакомился с Эдом Уинтертоном, когда наши руки соприкоснулись в отеле «Европа». Я шучу, конечно, но все так и было. Дело было на провинциальной книжной ярмарке; я чуть быстрее, чем он, потянулся за книгой – «Литературными и житейскими воспоминаниями» Тургенева. Столкновение повлекло за собой неловкие извинения с обеих сторон. Когда каждый из нас осознал, что причиной этого «наложения рук» стала библиофильская страсть, Эд пробормотал:

– Давайте выйдем и обсудим это.

За чайником непримечательного чая каждый поведал другому о своем пути к желанной книге. Я объяснил про Флобера, он говорил о своем интересе к Госсу и английскому литературному обществу конца прошлого века. Мне редко приходится иметь дело с американскими литературоведами, и я был приятно удивлен тем, что Эд находил скучным кружок Блумсбери и готов был оставить модернистов своим более молодым и честолюбивым коллегам. Впрочем, Эд Уинтертон вообще любил представлять себя неудачником. Это был человек чуть за сорок, лысеющий, с розовым безбородым лицом и очками без оправы; ученый с внешностью банкира, осмотрительный и добродетельный. Он носил английскую одежду, но отнюдь не выглядел англичанином. Он был из тех американцев, которые в Лондоне всегда надевают плащ-макинтош, поскольку уверены, что в этом городе дождь льет и при ясном небе. Эд не снял макинтош даже в вестибюле отеля «Европа».

В его ореоле неудачника не было никакого надрыва – скорее это было благодушное признание, что он не создан для успеха и, следовательно, должен исполнить свой долг и сносить неудачи корректно и благопристойно. В какой-то момент, когда мы обсуждали, что его биография Госса вряд ли будет закончена, не то что издана, он помолчал и сказал, понизив голос:

– И в любом случае я сомневаюсь иногда, что мистер Госс одобрил бы то, что я делаю.

– Вы имеете в виду...

Я мало знал о Госсе, и по моим расширенным глазам нетрудно было догадаться, какие картины промелькнули у меня в голове: обнаженные прачки, незаконные отпрыски, расчлененные трупы.

– Ох, да нет же. Просто сам факт, что я о нем пишу... Он мог бы посчитать, что я птица низковатого полета.

Я, конечно, уступил ему Тургенева, хотя бы только затем, чтобы избежать дискуссии о нравственной стороне обладания. Я не понимаю, как обладание букинистической книгой может оказаться неэтичным, но Эд понимал. Он обещал связаться со мной, если найдет другой экземпляр. Затем мы обсудили, насколько справедливо будет, если я заплачу за его чай.

Я не ожидал, что он снова объявится в моей жизни, тем более по такому поводу, но год спустя я получил от него письмо следующего содержания: «Не интересует ли Вас Джулиет Герберт? Судя по материалам, это были весьма любопытные отношения. Буду в Лондоне в августе, а Вы? Всегда Ваш, Эд (Уинтертон)».

Что чувствует невеста, когда открывает коробочку и видит кольцо на вишневом бархате? Я никогда не спрашивал об этом жену, а теперь уже поздно. Или – что чувствовал Флобер, когда ждал рассвета на вершине Большой пирамиды и наконец увидел полоску золота, сверкнувшую из-под черного бархата ночи? Изумление, трепет, бешеное ликование вошли в мое сердце, когда я прочитал эти два слова в письме Эда. Нет, не «Джулиет Герберт», а «материалы» и «любопытные». И кроме ликования, кроме кропотливой работы, что еще мелькнуло передо мной? Постыдная мысль о почетной степени в каком-нибудь университете?

Джулиет Герберт – большая дыра, скрепленная веревкой. Где-то в середине 1850-х она была гувернанткой племянницы Флобера Каролины и оставалась в Круассе несколько лет, затем вернулась в Лондон. Флобер писал ей, а она ему; они несколько раз навещали друг друга. Кроме этого, мы ничего не знаем. Не сохранилось ни единого письма к ней или от нее. О ее семье почти ничего не известно. Мы не знаем даже, как она выглядела. Не сохранилось ни одного ее описания, ни один из друзей Флобера не удосужился упомянуть ее после смерти писателя, когда увековечивались все другие женщины, сыгравшие хоть какую-то роль в его жизни.

Биографы расходятся во мнениях по поводу Джулиет Герберт. Для некоторых недостаток свидетельств – веское основание считать, что она мало значила в жизни Флобера, другие делают прямо противоположное заключение и утверждают, что загадочная гувернантка наверняка была его любовницей, возможно, Великой Тайной Любовью его жизни, может быть, они даже были обручены. Гипотезы напрямую зависят от темперамента биографа. Можем ли мы считать доказательством любви к гувернантке тот факт, что Флобер назвал свою борзую Жюлио? Некоторые считают. Мне это кажется несколько натянутым. А если считать это доказательством, то какие выводы можно сделать из того, что свою племянницу он в письмах иногда называет Лулу – именем, которое он позже даст попугаю Фелисите? Или из того, что у Жорж Санд был баран по имени Гюстав?

Единственное прямое упоминание о Джулиет Герберт встречается в письме Флобера к Буйе, написанном после того, как тот побывал в Круассе:

Поскольку я видел, что тебя взволновала гувернантка, я и сам взволновался. За столом мои глаза охотно опускаются по плавному склону ее груди.

Я думаю, она это замечает, потому что по пять или шесть раз за время трапезы кажется, будто она обгорела на солнце. Как прелестно можно сравнить склон груди с гласисом крепости! Амуры спотыкаются об него, когда штурмуют цитадель. (Голосом шейха): «Я точно знаю, каким артиллерийским орудием я бы вдарил по этой цели!»

Стоит ли спешить с выводами? Вообще-то такими хвастливыми подначками полны письма Флобера к друзьям-мужчинам. Лично мне это кажется неубедительным: истинное желание не так легко обратить в метафору. С другой стороны, любой биограф тайно пытается присвоить и направить сексуальную жизнь своего предмета; по моим выкладкам вы можете судить не только о Флобере, но и обо мне.

Неужели Эд действительно обнаружил какие-то материалы, относящиеся к Джулиет Герберт? Признаюсь, я заранее мечтал, как завладею этой находкой. Я представлял, как публикую эти материалы в одном из самых важных литературных журналов, может быть, я позволю «Таймс литерари саплмент» напечатать статью: Джеффри Брэйтуэйт, «Джулиет Герберт:

отгаданная загадка», в качестве иллюстрации – одна из тех фотографий, на которых с трудом можно разобрать почерк. Я даже стал беспокоиться, как бы Эд не проболтался о своем открытии университетской публике и не отдал простодушно свою находку в руки какого-нибудь честолюбивого галлициста с прической астронавта.

Однако это были недостойные и, надеюсь, нетипичные для меня чувства. Главным образом меня волновала сама возможность раскрыть секрет отношений Гюстава Флобера и Джулиет Герберт (иначе что могло обозначать «весьма любопытные» в письме Эда?). Меня также волновала мысль о том, что новые материалы позволят мне лучше понять, каким был Флобер. Стянуть сеть потуже. Например, мы могли бы узнать, как он вел себя в Лондоне.

Этот вопрос представляет особый интерес. Культурные связи между Францией и Англией в XIX веке были в лучшем случае прагматическими. Французские писатели пересекали Ла-Манш не для того, чтобы обсудить эстетические вопросы со своими английскими коллегами; они либо спасались от преследования властей, либо искали работу. Гюго и Золя приехали в качестве изгнанников; Верлен и Малларме приехали в качестве учителей. Вилье де Лиль-Адан, хронически нищий, но меркантильный до безумия, приехал в поисках богатой наследницы. Профессиональный парижский сводник снарядил его в дорогу, снабдив шубой, будильником и новым комплектом вставных зубов, – предполагалось, что все это будет оплачено из приданого наследницы. Но Вилье, с его неутомимой склонностью к несчастным случаям, все испортил. Наследница его отвергла, сводник явился требовать назад шубу и часы, и неудачливый ухажер был брошен на произвол судьбы в Лондоне, с полным ртом зубов, но без гроша в кармане.

А что же Флобер? Мы мало знаем о его четырех поездках в Англию. Мы знаем, что Всемирная выставка 1851 года удостоилась его неожиданного одобрения – «прекрасная вещь, хоть все ею и восхищаются», – но его записи, относящиеся к этой первой поездке, занимают всего семь страниц: две о Британском музее плюс пять о Китайском и Индийском залах Хрустального дворца. Каковы были его первые впечатления о нас? Он, должно быть, поделился ими с Джулиет. Удалось ли нам соответствовать определению в его «Лексиконе прописных истин»? (АНГЛИЧАНЕ: Все богатые. АНГЛИЧАНКИ: Выразите удивление, что им удастся рожать красивых детей.)

А другие поездки, уже после скандального успеха «Госпожи Бовари»? Посещал ли он английских писателей? Посещал ли он английские бордели? Оставался ли он дома с Джулиет, разглядывая ее за обедом, а после штурмует ее крепость? Были ли они (как я иногда почти надеюсь) просто друзьями? Был ли его английский таким неловким, как кажется по письмам? Говорил ли он исключительно по-шекспировски? И жаловался ли на туман?

Когда я встретился с Эдом в ресторане, он выглядел еще менее преуспевающим, чем раньше. Он рассказал мне о сокращении бюджета, о жестоком мире и о том, что его не печатают. Постепенно стало ясно, что его уволили. Он находил в этом иронию: от него избавились именно потому, что он был предан своему делу и твердо намеревался воздать Госсу должное, представляя его миру. Университетское начальство предложило ему работать побыстрее. Но он не мог на это пойти: он слишком уважает писательство и писателей. «Разве мы у них не в долгу?» – заключил он.

Может быть, я проявил меньше сочувствия, чем он ожидал. Но разве можно насильно развернуть удачу к себе лицом? Вот сейчас, раз в жизни, удача повернулась лицом ко мне. Я быстро сделал заказ, мне было все равно, что есть; Эд изучал меню так, как будто он Верлен, которого впервые за много месяцев собираются накормить досыта. Слушая его монотонные жалобы и глядя, как он медленно поглощает анчоусов, я истощил все свое терпение; но волнение мое не уменьшалось.

– Ну, – сказал я, когда мы приступили к основному блюду, – теперь о Джулиет Герберт.

– А, – отозвался он; я понял, что мне придется вытягивать из него каждое слово. – Это странная история.

– Еще бы.

– Да. – Эд, казалось, чувствовал себя не в своей тарелке, он был почти смущен. – Я приезжал сюда с полгода назад, разыскивая одного из дальних потомков мистера Госса. Не то чтобы я надеялся что-то найти. Просто никто никогда не говорил с этой леди, и я подумал, что мой... дож – повидаться с ней. Может быть, всплывет какая-то семейная легенда.

– И?

– И? Да нет, не всплыла. Нет, она ничем мне не помогла. Но я провел прекрасный день. В Кенте. – Он снова смущенно поежился, словно скучал о своем макинтоше, который у него безжалостно отобрал официант. – Ах, нуда. Так вот, у нее оказались письма. Дайте-ка сообразить – поправьте меня, если я ошибаюсь, – Джулиет Герберт умерла в тысяча девятьсот девятом году или около того, так? У нее была кузина, двоюродная сестра. Да. Так вот, эта женщина нашла письма и принесла их мистеру Госсу, спросила его мнение об их ценности. Мистер Госс думал, что она хочет выманить у него деньги, поэтому сказал, что они интересны, но ничего не стоят. И тогда эта кузина просто их ему отдала: «Раз они ничего не стоят, так просто заберите их». Что он и сделал.

– Откуда это известно?

– Там было сопроводительное письмо, написанное рукой мистера Госса.

– И?

– И письма достались этой леди. Которая в Кенте. Боюсь, она задала мне тот же вопрос: сколько за них можно выручить? К моему прискорбию, я повел себя не слишком нравственно. Я сказал, что, когда Госс получил их, они были ценными. Но теперь уже нет. Я сказал, что они все еще представляют интерес, но не очень большой, потому что половина написана по-французски. А потом я купил их у нее за пятьдесят фунтов.

– О господи.

Ничего удивительного, что он так ерзает.

– Да, нехорошо вышло, правда? Я не могу найти себе оправдания, хотя тот факт, что сам мистер Госс солгал, чтобы их получить, несколько сбил меня с пути. Тут возникает интересный этический вопрос, верно? Дело в том, что я был в депрессии из-за потери работы и надеялся, что отвезу их домой и продам и тогда смогу закончить книгу.

– Сколько их?

– Около семидесяти пяти. По три дюжины с каждой стороны. Мы так и определили цену: за каждое английское по фунту, за каждое французское – пятьдесят пенсов.

– О господи.

Я пытался прикинуть, сколько они стоят. В тысячу раз больше, чем он заплатил? Или даже дороже?

– Да.

– Расскажите мне о них.

– Гм. – Он сделал паузу и бросил на меня взгляд, который мог бы показаться жуликоватым, если бы Эд не был таким педантичным мямлей. Может быть, он просто получал удовольствие от моего нетерпения. – Ну хорошо. Что вы хотите знать?

– Вы прочли их?

– Ода.

– И... И... – Я не знал, что спросить; Эд теперь уже неприкрыто наслаждался ситуацией, – У них был роман? Да?

– Да-да, конечно.

– И когда он начался? Вскоре после того, как она приехала в Круассе?

– Да, довольно скоро.

Что ж, это объясняет письмо к Буйе: Флобер как бы дразнит друга, притворяясь, что сам имеет не больше шансов приблизиться к гувернантке, а на самом деле...

– Их отношения продолжались все время, что она там жила?

– Ода.

– И когда он приезжал в Англию?

– Да.

– Они были обручены?

– Трудно сказать. Думаю, что-то в этом роде. Они говорят об этом в письмах как бы в шутку. Что-то о том, что скромная английская гувернанточка поймала в свои сети знаменитого французского литератора и что она будет делать, если за следующее оскорбление общественной морали его посадят в тюрьму, ну и так далее.

– Так-так. А можно понять из писем, какая она была?

– Какая? А, в смысле, внешне?

– Там не было... не было... – (Он угадал, на что я надеюсь.) – Фотографии?

– Фотографии? Отчего же, были, даже несколько, из какого-то фотоателье в Челси, на твердом картоне. Он, должно быть, просил ее прислать снимки. Это представляет интерес?

– Это невероятно! И какая она?

– Милая и непримечательная. Темные волосы, сильный подбородок, прямой нос. Я не очень ее разглядывал – не мой тип.

– Им было хорошо вместе?

Я не знал, что еще спросить. «Английская невеста Флобера», – думал я. Автор – Джеффри Брэйтуэйт.

– Да, кажется. Кажется, они были очень друг к другу привязаны. Он под конец неплохо изъяснялся в нежных чувствах по-английски.

– Значит, он овладел языком?

– О да, в письмах встречаются довольно длинные пассажи по-английски.

– А Лондон ему нравился?

– Да. Как же иначе? Все-таки город его невесты.

Милый старый Гюстав, бормотал я про себя. Я чувствовал к нему острую нежность. Здесь, в этом городе, век с небольшим назад, с моей соотечественницей, завоевавшей его сердце.

– А он жаловался на туман?

– Конечно. Писал что-то вроде: как вы умудряетесь жить в этом тумане? К моменту, когда джентльмен ухитрится разглядеть приближающуюся леди, уже слишком поздно приподнимать шляпу. Непонятно, как выживает нация, когда простая вежливость встречает такие препоны.

О да, это его тон – элегантный, дразнящий, немного двусмысленный.

– А Всемирная выставка? Он пишет о ней? Наверняка ему понравилось.

– Да. Конечно, это было за несколько лет до их знакомства, так что он упоминает выставку в сентиментальном ключе: мол, может, я, сам того не зная, прошел мимо тебя в толпе. Он считал, что выставка была ужасной и по-своему великолепной. Кажется, он рассматривал все экспонаты как бесконечный источник материала для своего творчества.

– Ага. Гм. – Почему бы и нет. – Он, видимо, не ходил по борделям?

Эд бросил на меня сердитый взгляд.

– Ну он ведь писал своей возлюбленной – вряд ли он стал бы ей хвастаться такими вещами.

– Нет, конечно, – смущенно согласился я.

Меня переполняло ликование. Мои письма. Мои

письма. Наверняка Уинтертон позволит мне их опубликовать!

– Когда я смогу их увидеть? Они у вас с собой?

– О нет.

– Нет?

Ну конечно, это разумно: их нужно хранить в надежном месте. В путешествии много опасностей... Или... Или я чего-то не понял. Может быть... Он хочет денег? Я вдруг понял, что абсолютно ничего не знаю об Эде Уинтертоне, кроме того, что ему достался мой экземпляр «Литературных воспоминаний» Тургенева.

– Вы не принесли с собой ни одного письма? – спросил я.

– Нет. Видите ли, я их сжег.

– Вы – что?

– Я, собственно, потому и сказал, что это странная история.

– За такие истории нужно сажать в тюрьму.

– Я думал, вы поймете, – сказал он, к моему изумлению, и широко улыбнулся. – Уж вы-то! Я вначале хотел вообще никому не говорить, но потом вспомнил вас. Я думал, хоть одному специалисту надо сказать. Просто для порядка.

– Вот как.

Ясно как божий день: этот человек – маньяк. Неудивительно, что его прогнали из университета. Зря они его столько лет держали.

– Ну, понимаете, эти письма были полны всяких увлекательных вещей. Очень длинные, с рассуждениями о других писателях, об общественной жизни и так далее. Они были более откровенными, чем другие его письма. Может быть, он чувствовал себя свободнее, потому что отправлял их за границу.

Знает ли этот преступник, эта дешевка, этот неудачник, убийца, плешивый пироман, что он со мной сделал? Очень может быть, что знает.

– И ее письма тоже были по-своему весьма утонченны. Она рассказывала ему о своей жизни. Ее воспоминания многое говорят о Флобере – все эти ностальгические пассажи про жизнь в Круассе. Она явно была очень наблюдательна. Замечала всякие мелочи, которые, может быть, не видел никто другой.

– Вот как, – сказал я, мрачно помахав официанту.

Я был не уверен, что выдержу еще хоть немного. Мне хотелось сказать Уинтертону, как я рад, что британцы когда-то сожгли Белый дом до основания.

– Вы наверняка думаете, зачем я сжег письма. Я вижу, что вы из-за чего-то нервничаете. Понимаете, в самом последнем письме было сказано, что в случае его смерти ей вернут все ее письма, а она должна сжечь всю корреспонденцию целиком.

– Он приводил какие-то причины?

– Нет.

Это странно, если, конечно, маньяк не врет. Но ведь Гюстав действительно сжег часть своей переписки с Дюканом. Может быть, в нем разыгралась сословная спесь и он решил скрыть от мира, что чуть не женился на английской гувернантке. А может, не хотел, чтобы кто-то узнал, как он чуть не отказался от своей знаменитой любви к одиночеству и преданности искусству. Но мир узнает. Я об этом позабочусь.

– Так что сами видите, у меня не было другого выхода. Раз уж занимаешься писателями, то нужно вести себя честно по отношению к ним, да? Нужно выполнять их желания, даже если другие этого не делают.

Вот же самодовольный ублюдок. Еще и моралист, глядите. Весь в этике, как шлюха в помаде. Тут к выражению самодовольства на его лице прибавилась прежняя неловкость.

– В этом его письме было еще кое-что. Довольно странная инструкция. Помимо того, что он просил мисс Герберт сжечь все письма. Он сказал: если кто-нибудь когда-нибудь спросит,

что было в моих письмах, из чего состояла моя жизнь, пожалуйста, солги им. Или нет, я не могу просить тебя лгать – просто скажи им то, что они хотят услышать.

Я чувствовал себя как Вилье де Лиль-Адан: мне дали на несколько дней шубу и будильник, а потом жестоко их отобрали. Мне повезло – в этот момент возвратился официант. Кроме того, Уинтертон оказался не так туп, как могло показаться: он отодвинулся на стуле подальше и рассматривал свои ногти.

– Жаль, конечно, – продолжал он, пока я засовывал в бумажник кредитку, – что я, видимо, не смогу финансировать свою работу над биографией мистера Госса. Но согласитесь, это была интересная моральная проблема.

То, что я на это ответил, было глубоко несправедливо по отношению к писательским и сексуальным качествам мистера Госса; но я не мог смолчать.

4. Бестиарий Флобера

*Я привлекаю безумцев и животных.
Письмо Альфреду ле Пуатевену, 26 мая 1845 года*

Медведь

Гюстав был Медведь. Его сестра Каролина была Крыса – она подписывалась «твоя дорогая крыса», «твоя верная крыса», «маленькая крыса». «Ах, крыса, добрая моя старая крыса», «старая крыса, старая шельма-крыса, добрая моя крыса, бедная моя старая крыса» обращается он к ней, – но Гюстав был Медведь. Ему было всего двадцать, когда про него говорили «забавный оригинал, медведь, молодой человек, каких немного сыщешь»; и этот образ сформировался даже до эпилептического припадка и заточения в Круассе: «Я медведь и хочу остаться медведем в своей берлоге, в своем логове, в своей шкуре, в старой медвежьей шкуре – спокойный и далекий от буржуа обоего пола». После приступа зверь опять поднимает голову: «Я живу один, как медведь». (В этом предложении слово «один» следует понимать так: «один, не считая родителей, сестры, слуг, нашей собаки, Каролининой козы и регулярных посещений Альфреда ле Пуатевена».)

Он поправился, ему разрешили путешествовать; в декабре 1850 года он писал матери из Константинополя, развивая медвежью тему. Теперь она охватывала не только его характер, но и литературную стратегию:

Участвуя в жизни, ее трудно разглядеть: ты или слишком ею тяготишься, или слишком радуешься. Художник, я считаю, – это нечто монструозное, внеприродное. Все несчастья, которые обрушивает на него Провидение, происходят от упрямого отрицания этой аксиомы. <...> Так что (вот вывод) я решил жить так, как жил, один, с толпой великих людей, которые заменяют мне круг общения, с моей медвежьей шкурой – ведь я и сам медведь.

Надо ли говорить, что «толпа великих людей» – это не гости, а те друзья, которые живут на книжных полках? А о своей медвежьей шкуре он всегда беспокоился: из восточной поездки он дважды посылал матери письма (Константинополь, апрель 1850; Бени-Суэйф, июнь 1850) с просьбой о ней позаботиться. Племянница Каролина тоже вспоминала об этой главной достопримечательности его кабинета. Ее приводили туда на занятия в час; ставни в это время были закрыты из-за жары, и затемненная комната пахла благовониями и табаком. «Одним прыжком я падала на огромную белую медвежью шкуру, которую обожала, и покрывала поцелуями ее большую голову».

«Если поймашь медведя, он для тебя спляшет» – гласит македонская пословица. Гюстав не плясал; Флобер никого не пускал в свою берлогу. (Как бы это обыграть по-французски? *Gourstave*, пожалуй.)

МЕДВЕДЬ: обычно зовется Мартеном. Рассказать историю про старого солдата, который увидел упавшие в логово часы, спустился за ними и был съеден.

Лексикон прописных истин

Гюстав бывает и другими животными. В юности их целый зоопарк. Гюстав, нетерпеливо ждущий встречи с Эрнестом Шевалье, – «лев, тигр, индийский тигр, боа-констриктор!» (1841); испытывая редкий прилив сил, он – «бык, сфинкс, выпь, слон, кит» (1841). Позже он при-

меряет их по одному. Он – устрица в своей раковине (1845); улитка в своем домике (1851); еж, сворачивающийся для самозащиты (1853, 1857). Он – литературная ящерица, что греется под солнцем Красоты (1846), и звонкий соловей, который прячется в глуши лесов так, что его звуки слышны только ему самому (тоже 1846). Он становится мягок и нежен, как корова (1867); он вымотался, как осел (1867), но все же плещется в Сене, как дельфин (1870). Он работает как мул (1852), живет жизнью, которая убила бы трех носорогов (1872), работает «как XV быков» (1878), хотя Луизе Коле советует углубиться в работу, подобно кроту (1853). Луизе он напоминает «необузданного бизона американских степей» (1846). При этом Жорж Санд кажется, что он «кроток как барашек» (1866) – он это отрицает (1869), – и они вдвоем стрекочут как сороки (1866); десять лет спустя на ее похоронах он плачет, как теленок (1876). Уединившись в кабинете, он заканчивает рассказ, который написал специально для нее, рассказ про попугая, и при этом завывает «как горилла» (1876).

Он время от времени заигрывает с образами носорога или верблюда, но в глубине души, тайно, сущностно он Медведь: упрямый медведь (1852), медведь, с каждым днем все глубже погружающийся в медвежество из-за идиотизма своего века (1853), облезлый медведь (1854) и даже чучело медведя (1869); и так – до последнего года жизни, когда он все еще издает «рев медведя в своем лежбище» (1880). Стоит заметить, что в «Иродиаде», последнем законченном труде Флобера, заточенный в темницу пророк Иоканан на приказ прекратить завывания, обличающие испорченность мира, отвечает, что он все равно продолжит реветь «как медведь».

Человеческая речь подобна разбитому котлу, и на нем мы выстукиваем мелодии, под которые впору плясать медведям, хотя нам-то хочется растрогать звезды.

Госпожа Бовари

Во времена Гюстава вокруг еще водились медведи – бурые в Альпах, рыжеватые в Савойе. У лучших торговцев можно было разжиться засоленным медвежьим окороком. В 1832 году Александру Дюма подавали медвежий стейк в *Hôtel de la Poste* в Мариньи; позже в своем «Большом кулинарном словаре» (1870) он отмечал, что «медвежатину едят сегодня все народы Европы». От повара Их Прусских Величеств Дюма получил рецепт медвежьих лап по-московски. Купите освежеванные лапы. Промойте, посолите, маринуйте три дня. Запекайте с беконом и овощами семь-восемь часов; слейте жидкость, оботрите, поперчите и обжарьте в расплавленном сале. Обваливайте в хлебных крошках и поджарьте на открытом огне в течение получаса. Подавайте с пикантным соусом и парой ложек желе из красной смородины.

Неизвестно, пробовал ли когда-нибудь Флобер своего тезку. В Дамаске в 1850 году он ел верблюда-дромадера. Разумно предположить, что если бы он когда-нибудь отведал медвежатины, он нашел бы что сказать о таком самоедстве.

Каким именно видом медведя был Флобер? Давайте пройдем по его следу в письмах. Сначала он просто *ours* без уточнения, медведь (1841). У него по-прежнему нет уточнения в 1843 году (хотя есть логово), в январе 1845-го и в мае 1845-го (теперь у него вырос тройной слой меха). В июне 1845 года он хочет купить картину с изображением медведя для своей комнаты и назвать ее «Портрет Гюстава Флобера» – «чтобы обозначить мои нравственные предпочтения и мой общественный темперамент». Пока что мы (возможно, вслед за ним самим) представляем себе животное темного цвета: американского бурого медведя, русского черного медведя, рыжеватого медведя Савойи. Но в сентябре 1845 года Гюстав твердо заявляет, что он – «белый медведь».

Почему? Потому что он медведь и одновременно белый европеец? Может быть, эта личина позаимствована у шкуры белого медведя на полу его кабинета (которую он впервые упоминает в письме к Луизе Коле в августе 1846-го, говоря ей, что любит иногда поваляться

на этой шкуре днем. Может быть, он выбирает себе вид, чтобы лежать на шкуре, играя словами и мимикрируя)? Или этот окрас связан с продолжающимся отдалением от человечества, с дрейфом к дальним пределам медвежества? Бурый, черный, рыжеватый медведь не так уж далеки от людей, от людских городов, даже от людской дружбы. Цветных медведей обычно можно приручить. Но белый, полярный медведь? Он не танцует под людскую дудку; он не ест ягод; его не подловить на слабости к меду.

Других медведей можно использовать. Римляне ввозили медведей из Британии для цирковых игр. Камчадалы, восточносибирский народ, некогда делали из медвежьих кишок маски для защиты от яркого солнца, а из заточенных лопаток – серпы. Но белый медведь, *Thalarctos maritimus* — это аристократ среди медведей. Высокомерный, неприступный, изящно ныряющий за рыбой, коварно подстерегающий тюленей, которые поднимаются глотнуть воздуха. Морской медведь. Передвигаясь на плывущих льдинах, они путешествуют на огромные расстояния. В одну из зим XIX века двенадцать огромных белых медведей добрались таким способом до Исландии – представьте, как они едут на своих тающих тронах, представьте их навещающую ужас, богоподобную высадку. Полярный исследователь Уильям Скорсби отмечал, что печень медведя ядовита – чего нельзя сказать ни про какой другой орган никакого другого четвероногого. В зоопарках не существует способа установить беременность белого медведя. Странные факты, которые, быть может, Флоберу не показались бы странными.

Когда якуты, сибирский народ, видят медведя, они снимают шапки, приветствуют его, зовут хозяином, стариком или дедушкой и обещают не нападать на него и никогда не отзываться о нем дурно. Но если им кажется, что он на них набросится, они в него стреляют, а убив, разделявают на куски, жарят и пируют, повторяя все время: «Это русские тебя едят, а не мы».

А. Ф. Оланье. Словарь блюд и напитков

Есть ли другие причины, по которым он решил стать медведем? Метафорически *ours* означает примерно то же, что и по-английски: грубый, дикий человек. В жаргоне словом *ours* называется полицейская камера, «обезьянник». *Elle a ses ours*, «у нее медведи», говорят о женщине, когда у нее месячные (видимо, предполагается, что в такие дни женщина ведет себя как медведь-шатун). Этимологи считают, что это разговорное выражение появилось на рубеже веков (Флобер его не использует, он говорит «красные мундиры высадились» или еще что-нибудь в таком роде. Однажды, после долгого беспокойства о задержке у Луизы Коле, он с облегчением замечает, что лорд Пальмерстон наконец прибыл). *Un ours mal léché*, «дурно облизанный медведь» – так говорят о человеке неотесанном и мизантропическом. Еще больше подходит Флоберу жаргонизм XIX века: *un ours* – это пьеса, которую часто и безуспешно предлагают для постановки, но в конце концов все-таки принимают.

Флобер, несомненно, знал басню Лафонтена про медведя и садовника. Жил-был медведь, уродливый и неуклюжий; он прятался от мира и проводил свои дни один-одинешенек в лесу. По прошествии времени он стал меланхоличен и беспокоен – «ибо разум не живет долго среди анахоретов». Он отправился бродить и встретил садовника, который тоже жил отшельником и тоже страдал от одиночества. Медведь вселился в каморку садовника. Садовник стал отшельником, потому что не выносил глупцов; но поскольку медведь за день едва произносил три слова, садовник мог работать без помех. Медведь ходил на охоту и приносил дичь для них обоих. Когда садовник засыпал, медведь садился рядом с ним и усердно отгонял мух, которые пытались сесть тому на лицо. Однажды человеку на кончик носа села муха, которую никак не удавалось согнать. Медведь страшно разозлился на нее и в конце концов схватил огромный валун и убил муху. К сожалению, при этом он вышиб садовнику мозги.

Может быть, Луиза Коле тоже знала эту историю.

Верблюд

Если бы Гюстав не был Медведем, он мог бы стать Верблюдом. В январе 1852 года он пишет Луизе и снова твердит про свою неисправимость: он такой, какой он есть, он не может измениться, он над этим не волен, он подвластен природному порядку вещей, «который заставляет белого медведя обитать среди льдов, а верблюда – брести по пескам». Почему верблюд? Может быть, потому, что он ярко иллюстрирует флоберовский гротеск: он одновременно страшно серьезен и страшно смешон. Флобер сообщает из Каира: «Верблюд – одно из совершенных созданий природы. Я не устаю наблюдать за этим странным животным, которое кренился, как индюк, и вытягивает шею, как лебедь. У них такой крик, которому я тщетно пытаюсь подражать. Я надеюсь, что я все-таки смогу его повторить, но это сложно из-за особого бульканья, которым сопровождается громкий хрип».

Этот вид также обладал чертой характера, знакомой Гюставу: «В своей физической и умственной деятельности я подобен дромадерам, которых очень трудно сдвинуть с места и очень трудно остановить; и в покое, и в движении мне нужна непрерывность». Эта аналогия 1853 года, сдвинувшись с места, тоже не хочет останавливаться и продолжает свой путь в письме к Жорж Санд в 1868-м.

Словом *chateau*, «верблюд», в жаргоне обозначалась старая куртизанка. Я не думаю, что Флобера смутила бы такая ассоциация.

Овца

Флобер любил ярмарки: акробатов, великанш, уродцев, танцующих медведей. В Марселе, на набережной, он посетил шатер с рекламой «женщин-овец», которые бегали по кругу, давая матросам подергать себя за руно – настоящее или нет? Это не было утонченным развлечением. «Трудно представить себе что-либо более глупое и грязное», – записал он. Его гораздо больше впечатлила ярмарка в Геранде, укрепленном средневековом городке к северо-западу от Сен-Назера; там он побывал во время своего пешего путешествия по Бретани с Дюканом в 1847 году. Хитрый крестьянин с пикардийским выговором сулил, что в шатре гостей ожидает «юный феномен»; феномен оказался пятиногой овцой с хвостом в форме трубы. Флобер был очарован как зверем-уродцем, так и его хозяином. Он бурно восхищался, он пригласил владельца на ужин, он сулил ему процветание и советовал написать об этом чуде королю Луи-Филиппу. К концу вечера, к явному неудовольствию Дюкана, они называли друг друга на «ты».

«Юный феномен» запал Флоберу в душу и вошел в репертуар его издевок. На всем протяжении пути он представлял Дюкана деревьям и кустам с деланой серьезностью: «Смею ли предложить вашему вниманию юный феномен?» В Бресте Гюстав снова наткнулся на хитрою пикардийца с его уродцем, отужинал с ними, запьянел и продолжил превозносить дивное животное. На него нередко находило подобное безумство; Дюкан терпеливо ждал, пока оно пройдет, как лихорадка.

Спустя год Дюкан лежал больной в своей парижской квартире. В один прекрасный день, в четыре часа пополудни, он услышал шум на лестничной площадке. Дверь распахнулась, и в комнату гордо вошел Гюстав, а за ним – пятиногая овца и карнавальщик в синей блузе. Они обнаружили возле какой-то ярмарки у Дома инвалидов или на Елисейских Полях, и Флоберу не терпелось поделиться с другом радостью от нечаянной встречи. Дюкан сухо замечает, что овца «вела себя дурно». Как, впрочем, и Гюстав – он зычно требовал вина, водил животное по комнате и провозглашал его достоинства: «Юному феномену три года, он был представлен Медицинской академии и почтен визитами нескольких коронованных особ» и т. д. Четверть

часа спустя больной Дюкан решил, что с него хватит. «Я распрощался с овцой и ее хозяином и велел, чтобы в комнате прибрали».

Но овца наследила и в памяти Флобера. За год до смерти он все еще напоминал Дюкану о своем неожиданном визите с «юным феноменом» и смеялся, как в первый раз.

Обезьяна, осел, страус, другой осел и Максим Дюкан

Неделю назад я видел на улице, как обезьяна прыгнула на осла и принялась дергать его за член. Осел ревел и брыкался, хозяин обезьяны орал, сама обезьяна пищала. Кроме двух-трех смеющихся детей и меня, весьма позабавленного, никто не обращал на происходящее никакого внимания. Когда я рассказал об этом г-ну Белену, секретарю консульства, он сказал, что однажды видел, как страус пытался изнасиловать осла. Макс на днях мастурбировал в заброшенных развалинах, и ему очень понравилось.

Письмо Луи Буйе Каир, 15 января 1850 г.

Попугай

Начать с того, что попугаи принадлежат к роду человеческому – в этимологическом смысле. Французское *perroquet* — это уменьшительное от имени Пьеро; английское *parrot* происходит от «Пьер», испанское *perro* — от «Педро». Для греков способность попугаев к речи была важным пунктом в философских прениях об отличиях между человеком и животными. Элиан сообщает, что «брахманы считают их священными, почитают превыше всех остальных птиц и добавляют, что делают это с достаточным основанием – ведь лишь один попугай весьма умело подражает человеческому голосу». Аристотель и Плиний отмечают, что в пьяном виде эта птица удивительно сладострастна. Бюффон говорит (и для нас это представляет особый интерес), что попугаи склонны к эпилепсии. Флобер знал об этой братской слабости; его заметки о попугаях времен работы над «Простой душой» включают список их болезней – подагру, эпилепсию, молочницу и язвы гортани.

Подведем итог. Во-первых, есть Лулу, попугай Фелисите. Затем есть два соперничающих чучела, одно в Отель-Дьё, другое в Круассе. Потом – три живых попугая, два в Трувиле и один в Венеции, плюс больной попугай в Антибе. Из числа возможных прототипов Лулу мы можем, мне кажется, исключить мать «мерзкого» английского семейства, которую Гюстав встретил на корабле по дороге из Александрии в Каир: из-за зеленого козырька на шляпке она выглядела «как старый больной попугай».

Каролина в своих *Souvenirs intimes* замечает, что «Фелисите и ее попугай существовали в действительности», и направляет нас в сторону первого трувильского попугая, того, что принадлежал капитану Барбею, – вот, мол, истинный предок Лулу. Но это не помогает нам ответить на более важный вопрос: каким образом и когда простая (пусть и великолепная) птица из 1830-х годов превратилась в сложного, трансцендентального попугая 1870-х? Возможно, мы никогда этого не узнаем. Но мы можем предположить, в какой момент эта трансформация началась.

Вторая, незавершенная часть «Бувара и Пекюше» должна была состоять в основном из гигантского досье странностей, глупостей и саморазоблачающих цитат под названием *La Copie*, которое двое клерков торжественно вели себе в назидание и которое Флобер намеревался воспроизвести с более ироническими намерениями. Среди тысяч газетных вырезок, которые он собирал с мыслью о будущем досье, нашлась следующая история, извлеченная из *L'Opinion nationale* за 20 июня 1863 года:

«У жителя Жерувиля, близ Арлона, был великолепный попугай, единственная его любовь. В юности он пережил несчастную страсть и стал мизантропом; он жил один со своей

птицей, которую обучил имени своей возлюбленной, и птица повторяла его по сто раз на дню; это был единственный ее талант, но в глазах несчастного Анри К. он стоил всех других. Каждый раз, когда священное имя произносилось этим странным голосом, Анри дрожал, словно слышал замогильный голос, таинственный и сверхчеловеческий.

Постепенно в воображении Анри К., воспламененном одиночеством, попугай приобретал все большее величие. Он стал для него своего рода священной птицей, прикасаться к которой можно лишь с глубочайшим почтением; хозяин проводил долгие часы, восхищенно глядя на питомца. Попугай, уставив на него свой неподвижный глаз, произносил каббалистическое имя, и в душе Анри возрождалось воспоминание о былом счастье. Эта странная жизнь продолжалась несколько лет. Но вот Анри К. появился на людях еще мрачней обычного; он сильно похудел, и диковатый огонек сверкал в его глазах: попугай умер.

Анри К. продолжал жить одиноко, совершенно одиноко, без связи с внешним миром. Он все больше погружался в себя; иногда по нескольку дней он не выходил из комнаты, поедая принесенную ему пищу, но не обращая ни на кого ни малейшего внимания. Постепенно он стал считать, что сам превратился в попугая; он выкрикивал заветное имя, подражая голосу покойного; он пытался изобразить походку птицы и усаживаться на насест; он простирали руки, как будто расправляя крылья.

Иногда он впадал в ярость и начинал ломать мебель; его семья решила отправить его в Гель, в *maison de santé*. Но по пути туда, ночью, он сбежал; наутро его нашли сидящим на дереве. Спустить его не представлялось возможным, пока кому-то не пришло в голову принести под дерево огромную клетку для попугая. Увидев ее, несчастный мономан слез, был схвачен и в настоящий момент находится в приюте для умалишенных в Геле».

Мы знаем, что Флобер был впечатлен этой газетной байкой. После строчки «в воображении Анри К. попугай приобретал все большее величие» он подписал: «Заменить животное: вставить собаку на место попугая». Без сомнения, это конспект какого-то будущего труда. Но когда дело дошло до написания истории про Лулу и Фелисите, неизменным остался попугай, а вот хозяин был заменен.

До «Простой души» попугаи бегло пролетали по произведениям и письмам Флобера. Объясняя Луизе притягательность дальних стран (11 декабря 1846 года), Гюстав пишет: «Детьми мы все хотим жить в стране попугаев и засахаренных фиников». Утешая грустную и расстроенную Луизу (27 марта 1853), он напоминает ей, что все мы – птицы в клетке и что жизнь давит тяжелее всего на тех, у кого крылья больше: «Все мы в той или иной степени орлы или канарейки, попугаи или коршуны». Объясняя Луизе, что он не тщеславен (9 декабря 1852), он разграничивает Гордость и Тщеславие: «Гордость – дикий зверь, который живет в пещерах и пустынях. Тщеславие – наоборот, как попугай, прыгает с ветки на ветку и болтает у всех на виду». Описывая Луизе героические поиски нужного стиля, к которому понуждает его «Госпожа Бовари» (19 апреля 1852), он объясняет: «Сколько раз мне приходилось падать навзничь, когда мне казалось, что я ухватил нужное! И все же я чувствую, что не должен умирать, пока тот стиль, что звучит у меня в голове, не зарычит, заглушая попугаев и цикад».

В «Саламбо», как я уже упомянул, у карфагенских переводчиков на груди – татуировка с изображением попугая (деталь остроумная, но вряд ли достоверная); в том же романе некоторые из варваров «шли с зонтами, а на плечах у них были попугаи», а среди мебели на террасе Саламбо есть небольшое ложе слоновой кости, с подушками из перьев попугая, потому что это «вещая птица, посвященная богам».

Попугаев нет в «Госпоже Бовари», в «Буваре и Пекюше», в «Лексиконе прописных истин» нет статьи «*Perroquet*», а в «Искушении святого Антония» о них упоминают лишь вскользь. В «Святом Юлиане Милостивом» немногие виды животных избегают гибели во время первой охоты Юлиана: тетеревам отрезают ноги, низко летящих журавлей выдергивают с неба ударом охотничьего кнута – но попугая не упоминают и не трогают. Однако в ходе вто-

рой охоты, когда убийственные способности Юлиана испаряются, а животные легко избегают своего спотыкающегося преследователя и угрожают ему, – тогда попугай появляется. Вспышки света в лесу, которые Юлиан принимает за звезды на низком небе, оказываются глазами наблюдающих за ним зверей – диких котов, белок, сов, попугаев и обезьян.

И давайте не забудем про попугая, которого не было на месте. В «Воспитании чувств» Фредерик бродит по парижскому кварталу, разоренному восстанием 1848 года. Он проходит мимо разобранных баррикад, видит черные – вероятно, кровавые – лужи; дома, ставни на которых висят на одном гвозде, как лохмотья. Тут и там среди хаоса случайно уцелели хрупкие вещи. Фредерик заглядывает в окно. Он видит часы, несколько литографий – и жердочку для попугая.

Не так ли и мы бродим по прошлому? Заблудившись, растерявшись, испугавшись, мы следуем немногим сохранившимся указаниям; читая названия улиц, мы не можем с уверенностью сказать, где мы. Все вокруг в руинах. Люди так и не прекратили сражаться. Потом мы видим дом – возможно, дом писателя. На фасаде мемориальная доска: «Гюстав Флобер, французский писатель (1821–1880), жил здесь в...» – но тут буквы непостижимым образом съеживаются, как на табличке у окулиста. Мы подходим ближе, заглядываем в окно. Да, в самом деле – несмотря на разорение, кое-какие хрупкие вещи уцелели. Часы все еще тикают. Литографии на стенах говорят нам, что некогда здесь ценили искусство. Наш взгляд останавливается на жердочке для попугая. Где же попугай? Мы все еще слышим его голос, но видна нам только голая деревянная жердочка. Птица улетела.

Собаки

1. *Собака романтическая.* Это был огромный ньюфаундленд, принадлежавший Элизе Шлезингер. Если верить Дюкану, его звали Нерон; если верить Гонкуру, его звали Табор. Гюстав познакомился с госпожой Шлезингер в Трувиле: ему было четырнадцать с половиной, ей двадцать шесть. Она была красива, муж ее богат; она носила широкую соломенную шляпку, и сквозь муслиновое платье можно было разглядеть ее скульптурные плечи. Нерон, или Табор, следовал за ней повсюду. Гюстав часто шел следом на почтительном расстоянии. Однажды среди дюн она расстегнула платье и стала кормить грудью младенца. Гюстав был потерян, беззащитен, истерзан, погублен. С той поры он не перестает твердить, что короткое лето 1836 года запечатало его сердце. (Конечно, мы не обязаны ему верить. Как там говорили Гонкуры? «По природе он человек откровенный, но в том, что он говорит о своих чувствах, страданиях и любовях, никогда нет полной искренности».) А кому он первому признался в этой страсти? Школьным друзьям? Матери? Самой госпоже Шлезингер? Нет: он признался Нерону (или Табору). Он уводил ньюфаундленда на прогулки по пескам Трувиля и в сыпучей укромности дюн опускался на колени и обнимал пса. Он целовал его в то место, которого недавно касалась губами его возлюбленная (топография этих поцелуев до сих пор вызывает споры: одни говорят – в морду, другие – в макушку); он шептал в лохматое ухо Нерона (или Табора) тайны, которые страдал прошептать в ухо между муслиновым платьем и соломенной шляпкой; а потом заливался слезами.

Память о госпоже Шлезингер и ее тень преследовали Флобера на протяжении всей его жизни. Что случилось с собакой – неизвестно.

2. *Собака практическая.* На мой взгляд, вопрос о домашних животных, которых держали в Круассе, совершенно не изучен. Они мельком появляются в свидетельствах, иногда с именем, иногда без; мы редко узнаём, когда или как они там оказались, когда и как умерли. Давайте составим подборку.

В 1840 году сестра Гюстава Каролина владеет козой по имени Суви.

В 1840 году в семье живет черный ньюфаундленд, сука по имени Нео (возможно, это имя повлияло на воспоминание Дюкана о ньюфаундленде госпожи Шлезингер).

В 1853 году Гюстав ужинает в Круассе в одиночестве, не считая неназванной по имени собаки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.